

The background of the book cover is a high-angle photograph of a valley. In the foreground, there are green, rocky slopes. In the middle ground, a town with red-tiled roofs is nestled in a valley. The background shows rolling green hills and mountains under a bright blue sky with scattered white clouds.

Сергей Захаров

Каталонские повести

Новая проза

Сергей Захаров

Каталонские повести. Новая проза

«Издательские решения»

Захаров С.

Каталонские повести. Новая проза / С. Захаров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-506025-9

Каталония глазами «аборигена» — взгляд изнутри на жизнь в одном из самых посещаемых уголков земного шара: жизнь сложную, противоречивую и порой, кажется, не поддающуюся логическому осмыслению... Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-506025-9

© Захаров С.
© Издательские решения

Содержание

Номер с видом на океан	6
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Каталонские повести

Новая проза

Сергей Захаров

© Сергей Захаров, 2019

ISBN 978-5-0050-6025-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Номер с видом на океан

... Да хотя бы за то, что из-за нее мне пришлось отодвинуть Барселону. Да-да, отодвинуть: упереться, как следует, двумя руками во все суматошное барселонское многоцветье, и – отжать его от себя. А все из-за нее – Маши. Работать, понятно, я продолжал в графском городе – но спал и думал в другом месте.

В каталонской махровой глуши и часе езды от столицы я взял в аренду битый временем дом с когда-то белым фасадом. Дом этот, криво и походя вставленный в восьмитысячный прелестный городишко, о котором я и узнал-то накануне, успел вырасти, заматереть и состариться задолго до того, как в него сбежал я.

Стоял он (или, скорее, горбился) у самой границы «буржуйского холма» – так я сходу окрестил это место, и не случайно: аккурат на противоположной стороне улицы завершался скученный центр, а дальше и выше по крутеющему изумрудно склону восходили – шагом все более редким, важным – основательные особняки: каждый с отдельным участком, бассейном, зоной барбекю и прочими чудесными излишками, из которых собственно, и складывается приятность жизни.

Например, у западных моих соседей водились, помимо стандартного вип-набора, целых три ездовых лошади (буланая, гнедая и мышастая в яблоках), кухарка из Колумбии, садовник (муж кухарки), кот-злодей и два развеселых шпица – и я, постепенно и мимо воли углядев это (все же соседи, дом в дом) мог за них только радоваться. Я и радовался. Большое дружное семейство – десять душ. Видно, что живут в ладу – и давно. Все даже похоже чем-то между собой, как часто в таких случаях бывает. Хозяин похож на кухарку, хозяйка – на шпица. Хорошая, хорошая семья. Мне и вообще симпатичны состоятельные люди – в особенности, состоятельные прочно и давно.

Нуворишей, напротив, я долюбиваю не очень: за частую их нервозность и суетность, за гниль стереотипа. И все-то они взвинчены, на высшем градусе нерва: то в страхе, что возьмут да отгрызут свеженаворованное какие-нибудь бобры позубастей, то необходимо им, ежесекундно и всенепременно, чтобы зрили все и понимали, какие они сейчас новобогатые, а не рвань вчерашняя – дескать, вот мы, долгожданные, и добрались, и уже здесь: радуйтесь, восторгайтесь немедленно, преклоняйтесь, раболепствуйте даже...

А с коего, спрошу я, перепугу? Вот мне, к примеру, или Маше – зачем раболепствовать?

Мы, приватные экскурсоводы – сами себе хозяева, и нет никого над нами, разве что налоговая да Господь Бог... С каждого своего клиента мы берем одну и ту же цену: с красноярского нефтяного миллионера ли, московского сутенера, разьевшегося госдолжностью тамбовского чиновника, детройтского пенсионера, одесского еврея-свиновода или любознательного учителя из Саратова, копившего на поездку с культурными увеселениями не один год – и потому все перед нами равны: как перед священником, врачом или смертью. Вот она, чудесная гильотина, отсекающая лишнее и равняющая всех – стоимость наших услуг. И все, что за пределами этой стоимости – интересует меня нисколько. Вот нисколько не интересует. И Машу, к слову, тоже никогда не интересовало. Это одна из немногих точек, в которой мы с нею сходились славно и абсолютно, как Карл и Маркс: патологическое отсутствие зависти.

А нуворишам сложно понять – как-то это может кто-то не завидовать им? Не искать в них? Не преклоняться? Ведь они платят – значит, они и заказывают музыку, и музыка эта может быть самой разной, от Вагнера до хрипучего блатняка – это уж как им возжелается. Платят-то они. А если вдруг что-то не глянется им – то же отсутствие раболепия, например – могут ведь и передумать. И не заплатить. А где тогда окажемся мы, со всем нашим из пальца высосанным равенством? Известно, где. Верно? Да ничуть.

Все дело в качестве. Наша фирма стабильно высокое качество гарантирует и подтверждает, и о том знают, потому как радио сарафанное благую весть несет – и поскорей интернета. А на качественный товар спрос будет всегда – будет и есть. Спрос же как раз и означает свободу выбора – с этой, с нашей стороны.

А если кто-то не способен понять это – недолго ведь от него и отказаться. Такое дважды в нашей практике было, всего дважды из великого множества раз: когда мы стопорили мероприятие и говорили неадекватным клиентам «адьос» – вежливо и непреклонно. После, добавлю, мне всякий раз даже стыдно делалось от собственной вынужденной жестокости, стыдно и жаль их, повергнутых в унижительный шок (где это видано: не они отказались, а от них!), но видит Бог – они сами того хотели.

Впрочем, это моя пролетарская суть играет, или ворчливость, сегодня мне свойственная – до того, что даже поклеп на себя возвести готов. Потому что свобода, равенство – это, безусловно, замечательно, но, если уж мы пошли французским путем, остается и еще кит, без которого нашему турбизнесу не устоять. И имя киту этому, разумеется – братство.

Клиенты нам в рабочий срок – именно братья, и любим мы их истинно братской любовью: всяких и любых, с комплексами их, тараканами и заблуждениями. А знаете, какая она – братская наша любовь? Это когда за день работы ты, экскурсовод, теряешь два кило живого веса, а то и поболее, потому что каждую минуту этого дня выкладываешься на все сто – а то и на двести. А потом, добравшись до дома, падаешь в койку и умираешь, чтобы завтра, поутру в муках родившись родившись и отпахав – умереть снова. И так – изо дня в день. И делаешь это не за страх, а за совесть, потому что к работе своей привык относиться серьезно, и к людям, для которых работаешь – тоже. Так что клиентов мы любим – и выше я исключительно о самых уж пропавших, почти невозможных нуворишах распался.

Со старыми, кстати, богачами все иначе, и я сходу в свое время оценил их скромность и простоту, какие приходят лишь с осознанием полной монументальности своего положения в жизни. Понятно, саратовские учителя мне еще ближе – но их в нашей практике и меньше гораздо.

Но стоп, стоп, стоп – о чем это я? Колокол отстучал уже раз и другой, а я ещё и не начал – думать о том, о чем следует. Так мысль моя и скачет всегда – непредсказуемой гну, и приарканить её, и заставить бежать по прямой – почти невозможно. А все же попробую...

В лохматой провинции, на буржуйском холме, где я снял дом, не было ни нуворишей, ни саратовских учителей: сплошь старые богачи, потомственные буржуи – то есть, люди, по определению правильные.

Собственно, среди живущих здесь я был единственным разночинцем, и снятый мною дом, скажу так – соответствовал.

С больной желчью потеков и трещинами-морщинами на штукатурке, неумело замаскированными редким клочковатым плющом – дом донельзя походил на обвально лысеющего пенсионера, не желающего упорно расстаться с ролью героя-любownika. Но цена была милосердна, квадратура – масштабна, а камин – откровенно хорош.

Познавшая семьдесят зим, украшенная там и здесь крупными бриллиантами Нурия, владела, погудела даже, надувая жухлые впадины щёк, улыбнулась на четыре лада, а после фыркнула, увела молодые глаза в потолочное небо и принялась обмахиваться несуществующим веером, показывая, как знатно гудит в камине огонь и какой живительный жар способен дать он зимой.

После она поведала мне, что провела в этом доме первых двадцать лет своей жизни с мужем, золотым человеком, упокой, Господи, его душу, и дала понять, что в дальнейшем, когда я окончательно проникнусь всеми неисчислимыми достоинствами жилища, она, в общем, не прочь даже уступить мне дорогую ее сердцу и памяти обитель по сходной цене, можно в рассрочку, и «всегда, всегда мы найдем возможность договориться» – подчеркнула дважды она.

Светлая печаль, павшая на лик ее при упоминании об умершем супруге, легко сменилась на жадный деловой азарт и читаемое в полкасанья глаз желание непременно объегорить такого очевидного простака, как я, всучив мне нуждающуюся в капитальном ремонте халупу за две с половиной цены.

Перемена случилась мгновенно, без полутонов: как будто щелкнуло в проекторе, и выскочил тут же новый слайд – Нурия была настоящей каталонкой. Но и я приехал в эту страну не вчера – и потому отвечал уклончиво, главным образом, улыбками, полуулыбками и дружелюбным кряком. Посчитав, что зерно брошено, она не настаивала.

После она села в насупленный мерседесовский внедорожник и вознеслась к вершине холма – я же походил не обжитыми пока комнатами, полюбовался почти антикварной – читай, дряхлой – мебелью, покурил без кофе на просторной террасе, прислушался на минуту внутрь себя, там же поулыбался – и заключил, что дом мне, в целом, подходит.

Такие осмысленные не сразу или открывшиеся позже мелочи, как дизельный, промышленных размеров, котел, обещавший печальные зимние траты; стреляющий внезапно и страшно под ногами кафель плитки, отставшей и продолжающей отставать от цемента; патриотичная сантехника каталонской фирмы «Роса», заставшая хозяйкину молодость; наконец, текущая горькой слезой в двух местах крыша – все одно не отвратили бы меня от аренды. Недопонятое, необъяснимое и спонтанное нечто твердило мне: ты будешь жить здесь.

* * *

Я и жил – меж двух церквей.

Выяснилось это, внезапным и острым откровением, в первый же вечер – когда я перетащил из Барселоны нехитрый скарб свой, расселил его кое-как по углам, выбрал наиболее симпатичное мне ложе из имевшихся трёх и мгновенно, обесточенный переездом, не уснул даже, а рухнул с ускорением в сон – тут-то все и проявилось.

Оказалось, церковь Святого Антония стоит в одном шаге от моего новообретенного гнезда. Собственно, я знал об этом и раньше: массивную готическую колокольню храма, нависавшую тенью полулицы, трудно было не заметить. Я знал – но и в малой степени не принял эту близость в расчет.

А ведь сколько, черт меня возьми, сотен раз доводилось мне на экскурсиях сообщать туристам, что весь ход средневековой жизни размечен был звонницами церквей! Что же – теперь мне предстояло познать это на себе. Теория неожиданно истекла в практику, и превращение это вышло ужасным.

Едва я успел заснуть... Бамцц! Задорно и яростно возопил малый колокол, в самое моё ухо и в середку нутра – я подхватился, грубо вытащенный за ноги из сонного рая, и сел сотрясённо в постели, шаря слепой рукою часы.

Выяснилось, что это только начало. Ровно через пятнадцать минут – я снова прилачился было ко сну: с жаждой, с грубоватой ненасытной нежностью, как телёнок к материнскому вымени... – Бамцц! Бамцц! Колокол ударил уже дважды, отмечая половину часа, после, разбудив меня снова, отстучал три четверти и, наконец, все четыре бронзовых раза, знаменуя оконченный круг. И тут же вослед ему веско забухал колокол часовой – ббум, ббум, ббум!... Расстроенный и смятенный, я насчитал одиннадцать гулких ударов, и машинально сообразил: 23—00.

Добавлю: каждый раз все эти звоны-перезвоны с малым запозданием дублировались колоколами церкви Святой Богородицы Лурдской: та стояла дальше и выше, у края гор – но посильную лепту в общий кошмар вносила исправно.

Выспаться в ту ночь мне так и не удалось.

Наутро я уехал в Барселону с пухлой от украденного сна головой и всю дорогу, вертя угрюмо баранку, размышлял о том, что, пожалуй, поспешил с выбором места. Церкви, так уж случилось, я не взял в расчёт – позор, позор ветерану экскурсоводческого дела!

Идея отшельнической жизни в сельском предгорном раю, в окружении пасторальных видов и свежего, напоенного запахом навоза, воздуха уже не казалась мне столь привлекательной.

Колокола, жестокие в своей неостановимости, продолжали стучать больными пульсами в гулкой коробке черепа. Столица в районе Форума отвратительно встречала вонюю канализации – много хуже, чем всегда. Кофе горчил, молоко – недогрели, а круассан кислотовато и черство улыбался мне из вчерашнего дня, что совсем уж ни в какие ворота! Вдобавок, я оставил сигареты дома, а автомат в кафе, как и следовало ожидать, работать не пожелал. Столько неприятностей сразу со мной не случалось уже давно.

Но туристы – пожилая пара из Калифорнии – вышли в улыбках и оказались милейшими американскими людьми, и, в конце концов – я всегда спасался работой. А творилась в тот день экскурсия ладной песней, и дело, хотел бы заметить, происходило в Барселоне – лучшим, по моему скромному мнению, городе на Земле... Одним словом, жизнь потихоньку налаживалась.

На обратном пути, однако, снова я потускнел. Надо же – так просчитаться! Вот все, кажется, учтёшь, все предусмотритишь и примешь во внимание, и тут на тебе – этакий сюрприз от возлюбленных мною церквей! Ну кто, скажите, мог ожидать от них такого коварства? Внезапно я обнаружил, что тихонько насвистываю «Nothing Else Matters» – дурной знак, указатель того, что настроение мое стремится в точку вечной мерзлоты. Перспектива ночи страшила меня самым нешуточным образом.

Однако, на удивление, обошлось все гораздо спокойнее, чем накануне – за ночь я просыпался не более семи раз. Мне только предстояло оценить чудесные свойства колокольного звона. А они таки были чудесны: еще через сутки количество внезапных подъемов снизилось до трех, неделю спустя я спал безгреховным младенцем, а сейчас – расстроился и даже вознегодовал бы, вздумай какая-то недобрая сила колокольный звон у меня изъять.

Я привык к нему, и по нему, как в пресловутые «мрачные века», считал своё время. Находясь дома, в наручных, настенных, компьютерных или телефонных часах я более не нуждался.

Но главное волшебство заключалось в ином. Полагаю, как раз из-за колоколов, из-за того, что бой их так точен, неизбежен и всегда с тобой, даже если не отдаешь себе в том отчета – вскоре упорядочилась и моя персональная, текучая и живая, как ртуть, временная субстанция, и в сутках, удивляя, появился лишний час. Хотя «лишний» – неточно сказано. Напротив – самый нужный, может быть, из всех, заключенных в повторяемый круг.

С определенных пор я стал просыпаться с пятью часовыми ударами, и после ровно шестьдесят минут еще вылеживал с закрытыми глазами в постели, не торопясь вставать. Да и куда мне было торопиться? Занятие на этот час нашлось сходу и само собой, и занятие не из гладких: объяснить себе, почему мы с Машей – не вместе.

...Я помню, как сидели мы на террасе привычного кафе внизу Рамблас (мы только что разошлись, но еще не разъехались) и задавались тем же вопросом. Между столиков хаживал неизменный албанец с желтым зубом и напористым, неумелым аккордеоном – и первый раз за все время мне не хотелось отобрать у него это изошренное орудие пытки и заставить замолчать навсегда.

Звуки сумбура и зверьей тоски, извлекаемые из инструмента деревянными пальцами албанца – он всегда играл одну и ту же мелодию, которая, думаю, составляла ровно сто процентов его репертуара – как никогда соответствовали тому, что переживал я внутри своей неуютной, продуваемой насквозь трамонтаной, души. Не сомневаюсь, что и Маша ощущала нечто подобное. Мы были близки без малого десять лет, и за годы эти замечательно научились не только чувствовать, но и читать мысли друг друга. Иногда это могло показаться волшебством: едва успевал один что-то подумать, как другой тут же произносил его мысль вслух, с точностью до последнего слова.

Но никакое волшебство не смогло бы отменить то, что уже случилось, и мы, до краев исполненные шумной тоскливой пустоты, находились там, словно два родственника в бдении у гроба, а в гробу том, на белом стеганом атласе, возлежали они – десять лет нашей жизни вместе, и мы, под вполне созвучный аккомпанемент албанских клавиш, дружно и наперебой недоумевали: как же могло такое произойти? Откуда труп? И почему труп? И как покойник, до того, как преставиться, смог протянуть целых десять лет? И, если копать глубже, каким

вообще образом смог он появиться в свое время на свет? И как же, черт побери, правильно, что он, наконец, умер, и прекратились наши мучения...

– Что, что, что это было? Ты можешь мне объяснить? – вопрошала с усталой патетикой Маша. – Я даже понять не могу, что!

– Вот-вот, и я не могу ничего понять, Маша – тут же соглашался озадаченным эхом я. – Ни-че-го! А ты можешь?

– Нет! – удивлялась Маша готовно. – Я даже взять в толк не могу, как мы встретились, и почему после того не расстались сразу же... А ты понимаешь?

– Не понимаю! – охотно подтверждал я. – Не понимаю и не смогу понять. Зато твердо знаю одно – все кончено, и теперь, вот честное слово, мне хорошо. Мне почти хорошо. Мне будет хорошо, и, надеюсь, скоро. Сейчас я хотя бы знаю, что впереди – спокойная жизнь. Когда все устаканится, и мы привыкнем к тому, что уже не вместе – можно будет жить совершенно спокойно.

– Именно: спокойно! – подхватывала Маша. – Вот правильно ты сказал! Я все не могла подобрать нужного слова... А так и есть – спокойно! Ничего не хочу – только спокойствия. Только покоя. И упаси меня Бог заводить отношения в дальнейшем! Отношения... Ффф! Уфф! Все что угодно, только не это! Сыта по горло – и до конца дней!

– Вот это ты права так права! – почти радовался я. – Это ты верно сказала! Одна только мысль о каких-то отношениях... Уфф! Ффф! Не дай Бог! Я вообще не пойму, что это было такое – наши с тобой десять лет...

И мы выходили на новый бессмысленный старт, оставляя албанца с его глупым, как шарманка, аккордеоном далеко позади. Старый мир рухнул, а в новом царил свежий хаос мироздания, и никакие привычные правила не работали.

В старом мире, например, эффектная Маша, обладавшая редкой способностью вызывать в незнакомых мужчинах приступы спонтанного неконтролируемого восторга, который они тут же, предварительно извинившись передо мной, и пытались ей излить – в старом мире Маша неизменно сходила за француженку.

Но в тот раз – музыкальный садист уже собрал мзду и умелся за грязный угол – внезапно побежавший на длинных складных ногах к нашему столику американец лепетал что-то явно иное. «Russian beauty» – мог разобрать я повторенную несколько раз фразу, а еще – с удивлением отметил, что кроме нее, ничегошеньки не понимаю больше из сказанного на языке – а ведь английский совсем не был мне чужим.

Да, все тогда шло не так, и потому даже пытаться что-то соображать не имело смысла. Но прошло время, я уехал в провинцию и жил один, у меня появился дополнительный час, и вместе с ним – возможность подумать, вспомнить и, возможно, понять что-то – относительно Маши и меня. Не то, чтобы я намеренно собирался делать это – так уж вышло само собой.

Я знал, что задача не будет простой: жил я по угрюмой прямой, но вспоминал, если уж давал себе этот труд, веселым рулеточным кругом. Память моя не умела работать линейно,

воспроизводя события в их хронологической последовательности – вместо того, зверь непоседливый и живой, она совершала мгновенные непредсказуемые скачки в самые разные, и разнесенные, и внешне никак не связанные между собой моменты прошлого, поражая меня произвольностью выбора. С этим, однако, я давно смирился: другой у меня нет и не будет.

Не скрою, поначалу мне непривычно было думать о Маше так – в прошедшем времени, но после я нашел, что это даже к лучшему: даруемая прошлым отстраненность позволяла видеть все в гораздо более ясном – и безжалостном – свете.

Итак, полгода назад мы расстались с Машей, разменяв одну тюрьму на две свободы. Расстались обоюдно, выпотрошено и почти друзьями, без битья посуды и выяснения, кто кому должен – потому, должно быть, что за время совместной жизни не нажили особых богатств.

Мы не очень-то считали деньги, а когда их, по-нашему мнению, образовывалось достаточно, или, скорее, когда обилие неостановимой работы превращало нас в окончательных роботов, лишая так нужного чувства – мы быстро кормили чемоданы походным набором, силой схлопывали им разверстые пасти и, неудержимо влекомые этими атрибутами отпуска, не сходили, а почти падали в расположенный под домом паркинг, где уже томилась в нетерпении специальная, «отпускная» наша машинка – мелкая, лупоглазая и шустрая, обмятая и обтертая по всем своим выпуклостям нежностями барселонской автожизни.

Машина звалась закономерно «Нюской» – мы сваливали в нее чемоданы, тут же закуривали (курение в «Нюске», что категорическим образом не допускалось в экскурсионной машине, еще раз напоминало нам о том, что краткое отпускное счастье – вот оно) и уезжали смотреть мир, мотивируя очередной вояж тем, что для нашей профессии, где важен широкий кругозор, это необходимо – главным же образом потому, что нам нравилось делать это вдвоем.

Все поездки зарождались в Машинной голове, тщательно обдумывались, планировались, просчитывались и обсчитывались, подтесывались, уточнялись, обретали заслуженный глянец совершенства, закреплялись резервированием отелей – и лишь затем перед фактом ставился я. Маша любила устраивать мне сюрпризы – собственно, этим и объяснялась таинственность приготовлений.

– Я хочу еще раз побывать в Риме, – говорила Маша, – но только с тобой. Понимаешь – только с тобой!

Я понимал. Слова ее звучали божьей музыкой – и мы уезжали в Рим.

Или:

– Я хочу показать тебе Прагу. Я была там дважды – но без тебя. А какая же это Прага – если без тебя? – я понимающе соглашался, и мы уезжали в Прагу.

Или:

– Ты меня сейчас точно убьешь – но я только что сняла отель в Венеции. Номер крохотный – зато огромные скидки. И главное, есть балкон, где мы сможем спокойно курить.

Должны же мы, черт побери, прокатиться по их каналам в настоящей гондоле. Представляешь – оказывается, надо говорить гОндола – с ударением на первый слог. Забавно, да? А ночевать в пути будем под Каннами, всего в двадцати километрах. Вот заселимся и сгоняем на часок – в Канны. Я, конечно, искала в самом городе, но цены там – не подступиться. Ты не сердись, что я с тобой не посоветовалась?

Я не сердился – и мы уезжали в Венецию.

До моего вторжения в ее барселонскую явь Маша и сама успела кое-где побывать с предыдущим мужем – но все это, по словам её, было не то. Гораздо больше мы увидели с ней вдвоем.

Да, что ни говори, а расстались мы почти хорошо – и потому здесь, в белом доме, куда въехал и где жил только я, фотография ее розовела на каминной полке. «Розовела» – в ту поездку она брала финский, удивительного лососевого колера плащ – я такого не встречал больше – и на фото, в этом остановленном миге общего прошлого, была в нем: редкая дорогая рыбина в положенной ей по статусу упаковке.

Рядом с нею отражался сероватой тенью и я, а еще – тот самый Париж, куда мы ездили раз пять или шесть, и где нам каждый раз нравилось, и всегда – по-новому...

Лежа под самой крышей, наблюдая, как сходящий через оконца рассвет прорисовывает все отчетливей дубовые, в обхват, балки, я легко мог представить снимок в деталях: Париж, 2012-ый год, башня Монпарнас, за спиной Маши ажурно-монументальные фермы Эйфеля, в далеком тесном низу – кладбище, в каменном городке которого мы легко отыскали Бодлера и Сартра, но так и не смогли найти Мопассана...

На могиле Бодлера романтического вида молодежь распивала вино – в окружении цветов и бутербродов. Именно так – свадебно и терпко – там и пахло: молодостью, розами, сыром и колбасой, алкоголем, и еще, раздражительным краем, марихуаной – не любимым нами до зеленых искр запахом, который великодушная Маша моя сходу простила пирующим – за верность поэту.

Маша тихонько радовалась и сжимала крепче мою руку – Бодлер нравился ей. И Сартр, которого хотел посетить я, не был одинок: кровавые помады поцелуев, билетки на метро, прижатые разнокалиберными голышами, и главное, главное, тёплое и такое родное: Симона, упокоенная позже, была там, где и должно – рядом.

Единственным, кто так и не дался нам, оказался великий сумасшедший Ги Де – каждый раз, когда мы, ведомые указателями и картами, вот-вот должны были настичь его, Мопассан, казалось, хватал надгробие и убирался с ним прочь – категорически не желая, должно быть, чтобы его в тот день тревожили. Жаль, жаль, жаль – бормотал удрученно я: у него ведь такие гениальные рассказы...

А вот шахматист Алехин, умерший непобежденным чемпионом, нашелся, помню, легко.

Разорванные связи, разъятые любви, палестины проданные, преданные и обретенные, судьбы, судьбы, судьбы, написанные злой кардиограммой – но тяжесть могильных плит сглаживала все. Нам с Машей не холодно было ходить среди мертвецов: там мы особенно остро ощущали, что живы – и вместе.

Любовь отмотала и ее, и мое время далеко назад, даровав свойственное только юным существам бессмертие – да, мы снова были беззаботны и вечны, и потому легко, играючи, срывали с мертвых камней глаза эпитафии и пробовали их на звук, на вкус языка, проговаривая поочередно и вместе и пытаюсь раскусить смысл – эх, как бы пригодились мне не посещенные в университете пары французского! Но тогда, давно, студентиком, я не верил, что Франция существует, да она и не существовала – без Маши. Впрочем, кое-что я все же помнил, а пробелы мы восполняли собственной фантазией.

В легкомысленном кощунстве доходило даже до того, что Маша, быстро взглянув на меня под косым лукавым углом, спрашивала:

– А какую эпитафию, интересно, ты составишь для меня? – она была десятью годами старше (внешне старше выглядел я) и частенько, повинувшись свойственным ей непостижимым скачкам настроения, норвила напомнить об этом. Меня эти напоминания неизменно сердили.

– А с чего это ты решила, что это я должен буду составлять тебе эпитафию, а не наоборот? – встречно отбивался я. – Да, по паспорту я моложе, но ты прекрасно знаешь мой образ жизни до встречи с тобой. По биологическим часам я – глубокий старик. Старец. Аксакал. Так что составлять, боюсь, придется именно тебе.

Такой ответ был ожидаем ею – я всегда, словно глупый карась, шел на одну и ту же приманку.

– Ага! – тут же торжествующе кричала она. – Нормально! Нормально. То есть, ты собрался умереть раньше меня. Хорошо устроился, ничего не скажешь... А кто же будет приглядывать за мною и содержать меня в старости!?

Хоп! Удилище взметывалось в небо, карась повисал на крючке, и Маша, заядлая рыбачка, торжествовала. Вытащенный на враждебную сушу, я не трепыхался – крыть было нечем. Я и вообще плохо умел спорить с ней – да и трагикомическая абсурдность повода, из-за которого разгоралась эта псевдоперепалка, никакого настоящего спора и не предполагала. В конце концов, мы быстро, словно лишнего котенка, топили дискуссию в ало-жаркой воде поцелуев – и, довольные, уходили искать, например, кафе, где Ульянов-Ленин обыгрывал Троцкого в шахматы – или наоборот.

Эпитафию Маше я так никогда и не придумал, и не собирался, естественно, этого делать, но сейчас, когда похоронены были наши с ней отношения, и само черно-желтое слово – «эпитафия» уже не выглядело таким вопиюще неуместным... Сейчас, если бы вышло так, не дай Бог, не допусти и не дай, и даже думать о таком всерьез мне сташно, страшно и нельзя, но – если бы случилась катастрофа, и мне все же пришлось бы жестоко и нелепо ужимать смысл целой ее жизни в несколько золоченых слов на последнем мраморе – я бы, не колеблясь, увековечил его так: святая в плену страстей.

* * *

Вот вспомнилось вдруг: когда все раскрылось, переменилось и не могло уже быть, как прежде...

Когда она, уличенная в измене давно не любимому мужу, вздохнула с понятным всякому, кто действительно знал ее, облегчением – ведь уже не требовалось вышивать смертным крестиком так ненавидимые ею кривые узоры лжи...

Когда самолеты и поезда приближали ее ко мне, уже в новом, «официальном» качестве – впервые позвонил Машин муж и говорил со мною долго, долго, никак не менее полутора часов.

Отведенная мне в этом разговоре роль, во все девяносто минут – несколько жалких междометий. Я и не думал перебивать его: мужу нужно было выговориться, и, в конце концов, я, а никто другой, украл у него жену.

Голос его был спокоен, мягок и почти ласкающ. Речи – достойны: за все полтора часа я не услышал ни одного прямого оскорбления ни в свой, ни в Машин адрес. Если бы годность человека определялась исключительно его словами и тем, как они произносятся – муж мог бы стать мне примером для подражания на весь остаток дней.

Но привираю и даже вру, вру. Довольно скоро я с несвойственной мне прозорливостью понял, что он, подобно мастеровитому скульптору, ваяет для меня образ такой Маши, которая, будучи, безусловно, женщиной яркой и выдающейся, совсем не создана для меня, и мне лучше бы знать о том заранее.

Он будто занимался передачей важной собственности мне во владение – и, как порядочный человек (впоследствии он сам себя возвел в ранг «человека благородного»), считал необходимым указать на все ее избыточные потайные недостатки. Перечисление их и заняло, главным образом, все полтора часа беседы. Каждый из Машиних пороков, как следовало из его слов, сам по себе был, в общем, пустяковым, простительным и по-человечески понятным, однако в совокупности они складывались в картину поистине устрашающую.

Странно получилось, честное слово: полтора часа он, казалось, старательно и даже любовно творил Венеру – но в итоге произвел на свет Медузу Горгону. Попутно муж предсказал, что и я, насколько он может обо мне судить – человек явно не плохой, но совершенно не тот, кто способен составить Машино замысловатое счастье.

Впоследствии я убедился, что все, сказанное им тогда, было почти правдой – и в то же время не знающей оправдания ложью, до самого что ни на есть грязного испода.

Что же, он и в самом деле был мастеровит, и, благодаря ему, я усвоил важное в жизни понимание: часто вся разница между правдой и ложью заключается именно в этом «почти» – в двух недосказанных словах или трех лишних; в чуть более, чем нужно, затянутой паузе, когда медлить нет нужды и нельзя; в повышенной незаметно, всего на полградуса, степени благородства там, где речь идет о простой тарелке супа...

Зачастую это самое «почти» – разница между правдой и ложью – так мизерно, что там, где на кону действительно важные вещи, нужно вглядываться в происходящее пристально, дого и до обязательной боли в глазах – если не хочешь потерять все.

А еще позже я с искренним удивлением осознал, что пестрая попугайски ткань наших нескладных жизней соткана из неисчислимого множества этих «почти», какими мы созна-

тельно, принудительно, добровольно или случайно окружены во весь свой век: потому, должно быть, что голая субстанция правды совсем уж непригодна для выживания.

Понимание это далось мне далеко не сразу, не полностью и не легко, через ту же боль в регулярно набиваемых шишках – но первый настоящий урок преподал мне именно он, Машин муж.

Каюсь: я сразу невзлюбил его – и не потому, что он был Машиним мужем. И не потому, что сам я являл собой образец душераздирающей честности – это уж точно. Но и обман, естественный, как дыхание – тоже категорически не мое.

Впрочем, даже если бы весь искренний и такой понятный монумент собственной лжи, изваянный им персонально для меня, оказался верен – это ничего и никоим образом не изменило бы и изменить не могло. При всей куриной слепоте души я уже знал, что вся моя истинная жизнь исчисляется от Маши, и что жизнь эта – Машин мне подарок.

Жизнь, жизнь... Какая там жизнь была у меня до Маши – и была ли вообще? Чтобы понять, как Маша нашла меня, за четыре тысячи километров, в другом измерении и третьей стране, нужно сказать о ней несколько слов, обозначить ее хотя бы пунктиром – эту мою так называемую «жизнь». Кавычки здесь более чем уместны, потому что, задумываясь о ней, я прихожу к выводу, что, по сути, до Маши и не жил вовсе.

Все, что было, скорее напоминает рваные, неразборчивые от смазавшихся чернил пометки на полях настоящей, так и не прожитой мною жизни, или долгий больной сон, который мог с равным успехом сниться как самому мне, так и любому стороннему человеку – настолько он был несущественен, нехорош и обречен на скорое забвение.

Судите сами: в семнадцать лет, еще не выйдя из счастливо-животного детского состояния, я сделался вдруг запойным алкоголиком – в одно обвальное лето. Почему, как – сказать сложно, да это и не важно здесь. Важно, что, подобно черному вундеркинду, за один единственный год я превзошел все стадии алкогольного разложения и оформился окончательно в однобокую эгоистичную тварь, возводящую свой дрожащий кайф в мировой абсолют. Быстро? Быстро, да – но я не лишен был разных способностей.

Здесь нужно бы ставить постыдную точку – ее и поставили, и как раз «пером» – в очередной пьяной драке мое тело проткнули пару раз ножом и бросили истекать на лестничной клетке. Так я умер в первый раз – должен был умереть, когда бы не божье золотое крыло, явленное мне тогда впервые.

В то самое время, когда я утекал, вытекал и почти вытек из себя на пыльный бетон, в том же подъезде, но тремя этажами ниже, сделалось плохо старухе. Ей вызвали скорую, и санитар один глазастый случаем углядел таки – веселые, вишневые и тугие, мчавшие сверху лестничного колодца капли. Меня обнаружили и спасли – пять лишних минут, и было бы поздно.

Вот что это: случайность, чудо, перст, подарок? Да, перст, и подарок, но воспринял я его самым нелепым образом: едва оклемавшись, принялся разбазаривать подаренное мне время пуще прежнего. Человеку свойственно наплевательски относиться к подаркам, а золотое крыло, к тому же, окончательно убедило меня в собственном бессмертии.

Мне долго сходило с рук то, что убило бы уже дюжину других таких же, избравших судьбою земной ад – тех, что крестятся в этиловой реке и уходят в белую пустыню. Я пил, дрался, множил старательно зло; меня еще дважды пытались зарезать, и один раз – застрелить; на меня заводили уголовные дела и определяли не раз на тюремную шконку...

Семнадцать, в общей сложности, раз меня отвозили в психбольницу и привязывали к койке с диагнозом «типичный делирий»... Пьяный вусмерть, я замерзал на январском холоде и тонул в февральской воде; я вываливался дважды из окон больших этажей и четырежды попадал под машины; я регулярно засыпал в тлеющей от непотушенной сигареты постели – мне все, все сходило с дрожащих рук.

Более того: данный природой запас и божье крыло позволяли еще и делать на полях: смазанные записи-пометки. Параллельно с упоительной не-жизнью я все же закончил кое-как университет, отслужил в армии, пытался где-то работать, заводил какие-то связи, тут же их, впрочем, теряя – но все это шло вторым или третьим планом, обретаясь на тусклых задворках моего времени.

Именно – времени. Мало-помалу я начинал понимать, что жизни у меня нет (жизнь предполагает наличие смысла), а есть – подаренное мне зачем-то время. И время мое, как я знал уже, измеряется бессмысленной болью, и когда это боль станет нестерпимой, а к этому все шло – я умру.

Окончательно я осознал это годам к тридцати, и не потому, что организм уже износил ресурс, много раньше положенного срока; не потому, что давно уже врачи предупреждали: очередной запой может закончиться, в лучшем случае, смертью, а в худшем – безумием (хуже безумия нет ничего, и даже смерть перед ним бледнеет)...

Просто я очень ясно ощутил вдруг, что нет его надо мною больше – божьего золотого крыла. Нет, и, скорее всего, не будет. Была боль, которой делалось все больше, и было время, ужимаемое болью в ноль. И я испугался тогда, что скоро, вот-вот, мое время прекратится, а от меня, с моей непрожитой жизнью, закономерно не останется ничего.

Так не годилось – должно же остаться хоть что-то! Не может, не должно быть, чтобы вся эта долгая трагикомедия затевалась и теялась зря... Тогда, подгоняемый предчувствием конца времени, проснувшись в глухой середине ночи, я сел за стол и начал что-то записывать, неловко, с кряхтением и матерщиной, заталкивая неудобные мысли в тесные коробки слов, пытаюсь рассказать о том единственном, в чем разбирался хорошо – о боли.

Занятие это постепенно захватило меня – и самым удивительным было то, что после фиксации этих труднопонятных самому мне мыслей на бумаге (по старинке я первоначально именно записывал их, и именно на бумаге), они непостижимым образом отделялись от моего, породившего их естества, и начинали жить своей самостоятельной жизнью. Именно – жизнью, в которой брезжил какой-то смысл: так в разрыве сплошных, провисших под собственной тяжестью облаков на секунду проглядывает вдруг – далеко и высоко над ними – ясное, увешанное звездами ночное небо – и тут же скрывается вновь. Да, да, мерцало и таяло: но все же он определенно был, этот смысл, в противовес всему моему бессмысленному существованию, и мне захотелось, помню, чтобы смысл этот разглядел и понял кто-то еще.

В мировой паутине я зацепился за первый павший мне под руку литературный сайт, зарегистрировался и отпустил свои трудные тексты, эти сгустки концентрированной боли, в люди – и надо же было статься так, что их увидела Маша!

* * *

В то же время, что и я, но своими путями и причинами Маша упорно и целенаправленно подвигалась в как будто заранее определенную точку нашей встречи.

Ей стукнуло сорок с серединой лет (возраст превращений, когда «баба», по канонам народной мудрости, снова мутирует в «ягодку»), она была красива изысканной французской красотой уроженки Свердловска (всем известно, что настоящая французская красота только из России и происходит), давно жила за южными отрогами Пиренейских гор и, на паях с мужем, владела почти карманным, но успешным бизнесом в Барселоне.

Дети оперялись и стремились скорее избежать материнской опеки, разлетаясь кто куда, а главное, главное – она окончательно поняла, что к мужу, с которым прожито было почти двадцать лет, кроме возрастающей изо дня в день неприязни, не испытывает более ничего.

Кстати, мужа сама же Маша и испортила, как позже признавалась она сокрушенно мне. В свое время он достался ей человеком даже хорошим – разве что, морально неустойчивым, ничем особо не выдающимся и, к тому же, болезненно неуверенным в себе. Однако, однако – встреча ее со «вторым номером» (так Маша иногда называла его, для ясности) произошла в нужный момент. Маша только что рассталась, а точнее, сбежала от «мужа номер один» – непомерного, под два метра и сто тридцать кило, боксера-тяжеловеса, как-то незаметно, неуловимо быстро из спортсмена превратившегося в лихого и бескрайнего пьянчугу.

От первого брака у Маши осталось тревожное ощущение перманентного отсутствия денег, поскольку и свою, и её зарплату пьяный боксёр пропивал нараз, и присутствия большой беды, притаившейся где-то за дверью: во хмелю великан был психозно непредсказуем. А еще – двое симпатичных крошек-детей, мальчик и девочка, о которых, разводясь, она думала в первую и единственную очередь: нельзя и страшно было жить с малыши на одних квадратах с запойным монстром.

В противовес первому, «муж номер два» был застенчив, умерен в размерах и беспримерно восхищен Машиной красотой – настолько, что без колебаний готов был принять к себе и ее, и карапузов – все же поступок! Правда, «принять» – не совсем верно. Это Маша приняла его жить на свою территорию – движимым и недвижимым имуществом «второй номер» отягощен не был.

Правда и то, что ради Маши ему пришлось бросить свою первую жену с тем же количеством детишек, о которых он забыл сразу, безболезненно и навсегда (что Машу, признаться, сильно удивило и продолжало удивлять в продолжении их совместной последующей жизни) – однако в любом случае она была ему благодарна. В сравнении с запойно-сюрпризным гигантом, «номером первым» второй был куда более понятен и надежен. И, не станем забывать, это был мужчина – пусть несколько мелковатый и слегка трусоватый – но все же именно он.

Насчет трусоватости выяснилось, когда принявший основательно на богатырскую грудь «муж номер один» принес свое огромное тело выяснять отношения, и первое, что заявил ему «второй номер», новый Машин избранник: «Она сама!»

Машу, ставшую невольной свидетельницей этого забавного разговора, заявление такое слегка покорило, однако «мужа номер два» тоже можно было понять: предыдущий ее супруг на многих производил неотразимое впечатление. Так или иначе, спившегося громилу она жестко изругала, прогнала напрочь и навсегда и взялась с энтузиазмом за строительство новых отношений. Маше хотелось простого семейного счастья – надежности, спокойствия и любви. Да, да, ей хотелось любить.

А возлюбив «мужа номер два», Маша, со свойственной ей страстью, принялась рьяно выправлять все его комплексы. Любить наполовину она не умела. Забыв напрочь о себе (дело для нее преобичное), она занялась исключительно его карьерой и в придуманном ею же бизнесе отвела ему главную роль, а с целью повышения мужниной самооценки постоянно, вдобавок, пела дифирамбы о его уникальности и ему самому, и всему разномастному кругу их знакомых и родственников (в дальнейшем, для удобства, я буду именовать всю эту банду «родственничками»).

В этом и заключалась ее ключевая ошибка. Некоторые люди замечательны в роли сварщика, но на роль директора не годятся совершенно. «Муж номер два» был как раз из таких – из тех, кому власть противопоказана даже в мизерных дозах. Маша, подобно незадачливому алхимику, превратила сварщика в директора – и сама же за это поплатилась.

Результаты превращения оказались неожиданными – во всяком случае, для нее – и ужасающими: возвысившись и быстро там, наверху, пообвыкшись, муж искренне уверовал в собственную исключительность и в то, что всего добился сам. Что до людей сторонних – они, благодаря промоутерским талантам все той же неразумной, в пылу самоотречения, Маши, поверили в это еще ранее – да и что с них, сторонних, взять? Сальвадор Дали в свое время говаривал: «Повторяй себе раз двадцать на дню, что ты гений – и обязательно станешь им». Машин муж мог даже не утруждать себя повторениями – для этих целей у него имелась жена.

– Видно, доля у меня такая: возвращать царьков, – как-то в разговоре со мной посетовала горько Маша.

И была права: в результате своих необдуманных усилий вместо робкого человека в шапке из ветхого кролика, каким «второй номер» был на момент их знакомства, она породила и выпестовала царя. Пожалуй, даже Царя – так будет вернее. И роль в их союзе отводилась ей теперь второстепенная – всего лишь спутницы великого человека. Муж был «Windows», она – приложением. И отношение к ней было таким – как к приложению, и чем дальше, тем явственней: ложь прирастает собою.

Вскоре после окончательной трансформации муж начал барственно покрикивать на нее – а после и откровенно кричать, причем в крике голос его звучал отратительным петушиным фальцетом, рассказывала Маша. Впоследствии он пришел к выводу, что напряжение связок и расход нервных клеток – тоже не царское дело, и разработал новую, более созвучную статусу модель поведения, при которой все, сказанное Машей, сходу записывалось в «бабские глупости», да так и воспринималось: с непомерного высока, с легкой снисходительной усмешкой небожителя. Здесь уже он совершил ошибку серьезную и даже непоправимую.

Если грубость его (проявлявшуюся резкими и короткими вспышками и, как правило, приватно, поскольку прилюдно Маша и муж считались идеальной семейной парой, а муж публичным имиджем дорожил, и весьма) она еще могла какое-то время терпеть, главным образом, ради не выросших еще окончательно детей, то пренебрежение к себе – никогда. Для этого Маша была слишком горда. Сама она, как я сказал уже, любила без оговорок, нараспашку и во всю ширь, жертвуя с удовольствием собой и возвышая объект любви до небес; сама она, не колеблясь, могла пойти (и шла) и на обман, и на несправедливость, и даже на преступление, наконец, ради возлюбленного – но ровно такого же отношения справедливо ожидала и к себе.

Быть любимой, но не женщиной, а комнатной, редкой породы, собачкой она не желала и не могла. Собачка предполагает наличие кормящего хозяина и повелителя – для Маши такое положение дел совершенно не годилось.

Какое-то время она с удивлением, граничащим с ужасом, наблюдала за глобальными, случившимися в муже переменами, и пыталась даже как-то воздействовать на него, правда, теперь уже в обратную сторону – безуспешно. Муж и слушать не желал каких-то ее нелепых претензий – да и кой черт было вникать ему в «бабские глупости»?

Постепенно Маша убедилась, что человека, которого она любила, больше нет, а возможно, никогда и не было вовсе. И скорее всего – именно не было. Она ведь не сразу пришла к печальным выводам, но долго думала, анализировала, вспоминала, проживая еще раз эти двадцать совместных с ним лет заново (так рассказывала мне она) и, неожиданно для себя, открыла, что обман и мерзость с его стороны присутствовали в их отношениях всегда, с самого что ни на есть начала.

Тщательности и глубине проделанной Машей тогда аналитической работы позавидовал бы сам Шерлок Холмс – и он же первый, невзирая на всю свою английскую деревянность, бросился бы утешать ее, ибо выводы, сделанные Машей, оказались печальны: все эти годы, оказывается, она вела себя, как полная дура, и душой этой сознательно и умело пользовались. Не-е-ет, изначально «второй номер» был вовсе не так наивен и прост, как она, в своей действительной простоте, о нем думала.

И все-таки Маша продолжала терпеть – отчасти потому, что не любя, жалела его, зная, какой жестокий удар по самолюбию мужа нанесет ее бунт, а отчасти по той причине, что успела уже осознать: так просто разрыв с рук ей не сойдет – муж будет мстить. Финансовые рычаги их совместного предприятия она сама же когда-то вложила в его изощренные руки (снова дура!), и намеками муж и ранее, в целях профилактических, давал ей неоднократно понять: в случае чего, он воспользуется этими рычагами без раздумий. Терпела, опять же, еще и потому, что привыкла, да то и понятно: боязно, черт побери, всякому боязно – ломать привычный и устойчивый быт, когда тебе уже не двадцать три. И Маша терпела. Самым сложным, как признавалась после она, было делить с этим глубоко отныне неприятным ей человеком постель.

Все эти славные открытия, метания и переоценки ценностей давались ей, разумеется, нелегко. Народившуюся пустоту она пыталась заполнить писательством, для размещения своих текстов избрав – разумеется, случайно, тот же сайт самодельных литераторов, что и я. Ее бурлящие, яркие, как она сама, вещи насквозь пронизаны были ощущением ежесекундного праздника, они выстреливали шампанским и заразительно хохотали, радуясь жизни, из каждой

своей строки – тем более странно, что Машу могла чем-то зацепить безнадежная, как ночь в морге, тяжесть, физически ощутимая при чтении сочиненного мною.

Но, как выяснилось, могла – и зацепила. Из открытых комментариев мы незаметно перебрались в личную переписку. Ничего серьезного – да ничего серьезного и быть не могло: дружеское общение двух совершенно разных людей, которые откровенны друг с другом именно в силу того, что эта виртуальная откровенность ни к чему не обязывает.

Я знал, что у нее муж, трое совершеннолетних детей, и сложившаяся в целом успешно жизнь, Маша знала, что я – страдающий все более тяжелыми запоями алкоголик. Я знал, что Маша красива и любит цветы (видел фотографию ее на террасе, в середине устроенного ею цветочного царства), она знала, что если я без всякого предупреждения исчез на три недели из переписки – значит, у меня очередной запой.

«Ты уж береги себя и поскорее выбирайся, и сразу напиши, ладно?» – мягко и немного забавно тревожилась она: словно я был агент под прикрытием, уходящий на героическое и смертельно опасное задание – впрочем, «смертельно опасное» имело все же отношение к паршивой действительности. Я «выбирался» – и первым делом писал ей: приятно было знать, что кто-то, где-то, пусть и за тридевять земель, тревожится о тебе.

А потом она позвонила – затребовала мой номер телефона и позвонила. Помню, я испугался тогда: в этом был некий выход за никем не озвученные, но все одно существующие пределы. Номер, тем не менее, я сообщил и ждал с легкой дрожью звонка.

– Значит, так, – сходу сказала она (я удивился, что голос её оказался ниже, чем я предполагал). – Я хочу издать книгу с твоими вещами. Тебя нужно печатать. Есть родственники и знакомые в Москве, которые помогут все организовать. От тебя ничего не нужно – кроме согласия. Деньги я вложу сама, а потом верну – после реализации тиража. Тираж небольшой, заработать на этом не получится – но нужно же с чего-то начинать. Эх, были бы деньги на хорошую рекламу, раскрутку – можно бы и много издать сразу. Но это не потянуть, а жаль... Зато у тебя в активе будет книга – это пригодится в дальнейшем. А теперь скажи – ты согласен?

Я не понимал, зачем ей это нужно. Я не любил никому быть обязанным. Я ценил свою – какую ни есть – независимость. Но, похоже, от меня никто ничего и не требовал. Разумеется, я был согласен.

Затем все продолжилось, как прежде, с одним, разве что, отличием: время от времени Маша стала звонить мне. Делалось это, как правило, с террасы: я хорошо слышал, что параллельно с разговором она курит, и еще, фоном, пробивался временами шум улицы. Иногда ее действительно низковатый голос, к которому я успел уже привыкнуть, начинал торопиться и звучал тогда особенно волнительно и глубоко.

– Ну ладно, ладно, – говорила быстро она. – Буду закругляться. Муж рядом ходит, а он у меня ревнивый.

Она улыбалась (разумеется, я не мог видеть этого, но знал, что она улыбается) а затем, скомкав парой резких сжатий нашу беседу, торопилась выбросить ее в корзину для бумаг – помню, положив трубку, я легонько обижался даже минут этак пять.

Муж, муж – ну и что, что муж? У нас ведь ничего не было с Машей и быть не может – с чего бы ему ревновать? Мы даже не виделись никогда – и никогда, скорее всего, не увидимся: смешно, честное слово! И в то же время было в этом нечто глубоко приятное, какая-то тайна, подобие ни к чему не ведущего флирта, приключения, вход в которое дозволен был только двоим – но, повторюсь, воспринималось все это, как безобидная игра.

Я сочинял, вел свои английские занятия, вечером в обязательном порядке мы обменивались с Машей десятком-другим электронных писем... Наступала пора – и я исчезал на положенное время запоя... Возвращаясь, я робко стучался Маше в почту – теперь мне каждый раз было почему-то неизъяснимо стыдно перед ней – и она тут же, при первой возможности звонила.

– Хочу убедиться, что ты действительно жив, – с легким смешком говорила она, но по голосу я понимал, как ей невесело, и мысленно материл себя распоследними словами, понимая, что это – из-за меня. Эх, какой же тварью был я тогда...

Дела с книгой, между тем, подвигались. Хорошо помню Машин декабрьский звонок.

– Ну вот, книга вышла и уже продается в магазинах, – сказала она. – Поздравляю! И еще: через неделю я снова буду в Москве – и давай-ка заеду к тебе и передам авторские экземпляры. Ты не против? Тогда сообщи адрес. Хотя... книги будут тяжелыми. Сможешь встретить меня на вокзале? Но адрес все равно сообщи, мало ли...

«Заехать к тебе» у нее прозвучало так, будто от Москвы до города, где я жил, было не семьсот километров, а семь. Противостоять напору Маши было невозможно. И снова я настораживался и внутренне подбирался (границы нарушались в очередной раз, а я все же служил в свое время пограничником и имел наработанные соответствующим образом рефлексы) – и сообщал ей адрес дыры, где в то время жил, и записывал старательно дату, время и номер поезда.

Происходило что-то необычное, что-то непонятное и новое, где все вершилось, главным образом, помимо меня – но ни поводов, ни намерений противиться этому новому у меня не было. Только бы не запой, только бы не запой, когда она приедет – стучало-пульсировало главным опасением. Только бы не запить и не потерять свое глупое лицо окончательно!

Разумеется, я запил.

* * *

Конечно же, я запил – за два дня до ее приезда.

За эти дни, а точнее, сутки (пил я круглосуточно и наотмашь, день и ночь вырождались в абстракцию, а время измерялось количеством выпитых бутылок), я, как водится, превратил худую и чистую обитель крайнего аскета – так мое жилище выглядело, когда я бывал трезв – в зловонную берлогу спятившего зверя. Я и был этим спятившим зверем, и остается только поражаться, что через сорок восемь часов после начала безумия я все еще помнил, что ко мне должна приехать Маша. Это более чем странно – обычно уже через полдня запоя сознание полностью меня оставляло, чтобы вернуться через дней десять, а то и две недели.

Тем не менее, я помнил, я сохранил на заблеванном, уставленном бутылками дрянного сорокаградусного пойла столе залитый неоднократно и влипший в поверхность блокнотный листок с искомой информацией, и с утра, проглотив полтора стакана водки (пились они безвкусной водою), кое-как, охая и стелая, уместил большое тело в заполненную до отказа ванну – отмокать. Там я успел несколько раз с риском утопления заснуть, но все же пробудился почти вовремя. Бритье, как процесс, совершенно для пляшущих бесновато моих рук неосуществимый, я отмел сразу же – и потому, кое-как одевшись, выдвинулся на вокзал в окаемке двухдневной щетины.

Но что щетина – это пустяк с общей картиной упадка и разложения, какую являл тогда я. Маша, по словам ее, именно так и узнала меня: я показался ей самым несчастным и диким человеком не только на перроне, но и вообще на целой Земле. Ощущение дикости, вероятно, проистекало еще и из-за того, что ярился крепенький морозец, и бежавшая у меня из носу влага намерзла двумя сосульями, напоминавшими кабаньи клыки. Щетина, запойное говьяжье лицо, ужасающие эти клыки, залепленный гноем взгляд записного безумца – что, кроме отвращения, мог вызвать я в Маше тогда?

Что до меня – выпитая перед выходом водка дала о себе знать, и потому момент нашей первой с ней встречи в моей памяти почти не уцелел. Почти – кое-что все-таки сохранилось: ощущение присутствия рядом со мною чистого, яркого, потустороннего (безусловно, европейская благополучная Маша явилась из принципиально иного мира, непомерно далекого от провинциальной алкогольно-уголовной среды последнего разбора, к какой принадлежал я) – да-да, потустороннего, и в то же время, как ни странно это прозвучит – безгранично родного, родней чего не бывает и не может быть вообще...

Да, так было: обезнервленное ядом тело отказывалось что-либо воспринимать, а вот ссохшиеся от долго бездействия остатки души ухватили её, эту близость, сразу же – ухватили, чтобы минуту спустя потерять: штормило в пропитом мозгу моем преизрядно. Будь я хоть немного прозорливее, или хотя бы на бутылку трезвее – я сразу знал бы: это оно, божье крыло, когда-то оставившее меня, а теперь, необоснованно и милосердно, снова берущее меня под защиту. Будь я прозорливее, будь я трезвее... Не был я – ни тем, ни другим.

И сейчас, в каталонской глуши, в свой утренний час вспоминая об этом – я ужом скорородным верчусь от стыда и не ищущу себе оправдания. Раньше я никогда, за все наши годы, не касался этих воспоминаний – зная, должно быть, какими угрызениями это чревато. Эх, до чего мерзко все: я ведь даже лица Маши не запомнил в первую нашу встречу... Единственное, что осталось еще: тяжесть сплошь обмотанной скотчем картонной коробки, где лежали они: авторские экземпляры изданной ею книги. Моей книги, черт бы меня, подлеца, взял...

А что дальше? Дальше я могу констатировать основательный провал в памяти, за время которого таксист довез нас по моему адресу, а Маша, увидав сотверенный мною за гиблые дни гадюшник, справедливо рассудила, что отель – самая беспроегрешная и единственно возможная альтернатива.

В гостинице я пришел в себя – настолько, что, пока она была в душе, успел позаимствовать у нее в сумочке пару отличных купюр (где мой бумажник, я понятия не имел, да и не задвался такими вопросами), спуститься в бар, купить две водки и две вина и вернуться обратно. Вино я демонстративно уместил на стол, а водку самым подлым образом сокрыл в коридорном шкафу. Сейчас это назвали бы «политикой двойных стандартов», тогда же я просто объяснил

себе свои собственные действия тем, что без водки все одно не обойдусь, но Машу расстраивать не хотелось бы. В любом случае, это была обычная для меня подлость, осознание которой самого факта ее не отменяло.

Когда Маша, в обертке снежного полотенца, вышла – и снова поймал я это ощущение абсолютной невозможности происходящего, попутно отметив, что в жизни она много красивее, чем на фото – в ванную отправился я. На этот раз я все же смог собраться и худо-бедно, потратив на это никак не менее получаса, осилил бритье. После я мыл, чистил, отскребал себя ещё полчаса, закончив контрастным душем – и, изучая в зеркале свою угрюмую жестковатую физиономию и все еще спортивное тело (спорту я отдал когда-то немало сил, в свободное от водки, разумеется, время), пришёл к выводу, что выгляжу почти нормально, насколько это вообще возможно на третий запойный день. «Нормально» означает, что походил я тогда на агрессивного кота, сильно изодранного в недавних стычках и подлатанного кое-как и наспех.

А дальше, дальше... Дальше было нежно, нежно и хорошо, и страстно, и хорошо, и ещё, ещё, ещё, и какое-то время я держался молодцом, я даже забыл про эту чёртову, запрятанную в шкафу за гладильной доской водку, и чувства, во всей своей изощренности, пусть и на краткое время, но вернулись ко мне, я владел сокровищем и знал, что владею им, и поражался лишь, какая белая, нежно-белая у нее кожа (почему белая, ведь она из зацелованной солнцем Испании?) – и повторялось все снова и снова, и почти без пауз, и мы вряд ли разговаривали, потому что в словах не было нужды, да и времени не было на какие-то там разговоры, ведь на следующий день она уезжала, и вообще: тогдашнее состояние своё я мог бы определить как длительное, непрерывное и острое ощущения счастья, равного которому мне не доводилось еще знать в своей тёмной, как чулан, жизни...

...А потом я открыл глаза в убогой, провонявшей табаком и перегаром дыре и понял, что нахожусь у себя дома – и абсолютно один. Последнее, что удержала память – вино из высоких бокалов и теплое чудо Машиного тела – рядом с моим. Но я и без того отлично знал, как развивались события. Когда Маша уснула, я встал, прикончил вино и, закусывая каждую рюмку сигаретой, уговорил к середине ночи и водку. Силы у меня были уже не те, что в восемнадцать лет – и, проснувшись утром, Маша нашла меня, храпящего, в кресле – и в привычном алкогольном беспомыслии. Она собралась, вызвала такси, отвезла меня домой, с помощью сердобольного таксиста выгрузила в постель – и поехала на вокзал со странным чувством освобождения.

– Знаешь, я ведь уверена почему-то была, что так будет, – рассказывала после она. – Просто хотела убедиться. Увидеть, убедиться – и избавиться от этого дурацкого наваждения. Увидела, убедилась – и избавилась. У меня первый муж был такой же – почему я от него и сбежала. Но натерпеться успела всякого, и второй раз лезть в ту же реку – Боже упаси! Спасибо, на всю жизнь хватило. Вот знаешь, еду тогда в Москву – и радуюсь. Лечу в Барселону – и дожидаться не могу, когда самолет сядет. В Барселоне солнце, тепло, близкое все и родное. Понять тлоько не могу, что же со мною было, но знаю: было, закончилось, прошло, и ничего больше не будет, и тебя я больше никогда не увижу, потому что не хочу и не нужно...

Маша, милая, вредная моя Маша! Ровно в том же был уверен и я – и, как ни странно, тоже испытывал облегчение. Выправившись после запоя, я и вообще мог бы поверить, что никакого твоего приезда и не было, и все просто привиделось мне в одном из цветных алкогольных снов, которые изредка, да, бывают приятными – если бы не книги, те самые полсотни авторских экземпляров, что ты привезла мне.

Дизайнер обложки постарался на славу и проявил хороший творческий вкус, разместив в центре окно, из которого глядел в упор на читателя пронзительный глаз, слепленный на самом деле из двух половинок – половинки женской и половинки мужской. Однако понималось это с секундной задержкой – и на меня лично, помню, произвело сильное впечатление. Что же, книга вышла замечательной, но на наших с тобой отношениях был поставлен, не сомневался я, крест.

Через две недели ты позвонила, была ровна, весела и словом даже не обмолвилась о свинье, к которой приезжала недавно. Ты просто обходила эту тему стороной – как будто никакого приезда ко мне и не было вовсе. И я охотно тебе подыгрывал: в отношениях наших я не видел никакой, ни малейшей даже перспективы, и считал по-своему замечательным, что все закончилось, не успев, по сути, начаться. В противном случае это могло бы привести к самым разным, но точно уж никому не нужным неприятностям, а возможно, и страданиям. Ухабистая жизнь ожесточила меня, не спору – но страданий я намеренно никому не желал, Маша, и менее всего – тебе. Тогда же я знал, что мы больше никогда не увидимся, и серое, с зеленоватой ноткой тоски, знание это несло спокойствие.

Я знал, ты знала, мы знали... Все и все знали – целых два месяца.

А потом я снова запил – самым отчаянным и губительным винтом за всю «карьеру» – и всякое знание оказалось ложным.

* * *

В тот раз – думаю, ему назначено было стать финальным – все шло даже хуже обычного.

Пил я в последние, истекающие мои месяцы в глухую и жестокую одиночку, все контакты с внешним миром перекрывая на время питья напрочь. Когда подступал запой, а я чуял его приход безошибочно, я обзванивал, если успевал, клиентов (на жизнь, как уже было сказано, я зарабатывал частными уроками английского языка), сообщал им о недомогании – все, собственно, прекрасно знали, в чем оно заключается, и если терпели меня, то только за преподавательские достоинства, которое, видимо, у меня все же имелись – после затаривался в ближайшем гастрономе водкой, отключал все телефоны, зашторивал плотно окна и уходил в нее – в свою убогую, на краю бесславной гибели, нирвану.

Единственное, чем я позволял себе скрашивать сознательную пьяную одиночку – битловская музыка, тихонько и волшебным звучавшая где-то на периферии процесса и напоминавшая мне, пока я был в сознании, что есть в жизни и прекрасное что-то, а не только прах и тлен.

Держать при себе живых людей, собутыльников, в пьяно-безумные дни я опасался, и неспроста: в глубоком хмелю я становился буен, непредсказуем и до бескрайности жесток – и попросту не хотел, очнувшись, обнаружить в своей квартире свежий труп человека, повинного только в том, что его угораздило связаться и пить со мной.

Но в тот раз... В тот раз я вливал в себя водку и закусывал ее чтением книги: той самой, с глазом сдвоенным в середине обложки, с мрачной моей фотографией на оборотной стороне... Я проглатывал страницы, написанные другим мною, изданные милой Машей и странным образом соединившие нас на краткий миг во времени и пространстве – чтобы тут же вновь развести.

Странно, как странно – бормотал про себя я. Какие все же удивительные вещи происходят на свете! Ты запускаешь в безграничное пространство мира, повсюду и в никуда, кроващую частицу своей глупой, никому не нужной души – и находится, самым непостижимым чудом, человек, которому, она оказывается, нужна. А потом этот человек, поверивший зачем-то в тебя, делает для тебя невозможное, мчится к тебе за тридевять земель и четыре тысячи километров – а у тебя не находится для него и пяти трезвых минут. Совсем неласково, совсем паскудно было у меня на душе, и единичность, намеренная моя отделенность от всего живого сделалась на какой-то миг нестерпимой...

А потом я сидел на скамье у подъезда, и снег облизывал голову мне мокрым и теплым языком, и под черной рспахнутой кожей куртки я прятал ее, чтобы не замочить, прятал и жал накрепко к себе: свою и Машину книгу – как билет на упущенный рейс, как вещдок того необычайно важного, что не случилось, но могло бы случиться – будь я иным.

И еще позже – снега уже не было, но были люди – я страстно и сбивчиво пытался рассказать им, случайным знакомцам, какая прекрасная есть женщина, Маша, и какой подлец я, и тыкал неверным пальцем в свою фотографию, и принимал восторги и поздравления, и выпивал с кем-то отдельно и со всеми разом, и подписывал экземпляр, и поднимался в квартиру за другим – такая вот спонтанная презентация под открытым небом, и штук десять книг я тогда все же роздал и пометил своими чудными каракулями, и дурная боль, я помню это хорошо, отступила, но после закончилось все – и она взялась за меня с новой силой.

Снова я был один, снова я пил один, и ночь загоняла меня в пятый угол.

Вообще, пить отшельником, в особенности так, как пил я – занятие довольно опасное: случись что, некому и скорую будет вызывать. Раньше, однако, обходилось: внутри меня худобно, но продолжал функционировать тот самый, питающийся от инстинкта самосохранения счетчик, который всегда предупреждает – стоп! Выпьешь еще рюмку сейчас – сдохнешь, не сомневайся. Сдохнешь, потому что превышена будет твоя персональная предельная концентрация яда в крови. Вот выпей-выпей – и умри, тварь! А умирать, доложу вам, никому неохота – ни алкоголику, ни наркоману, ни самому распоследнему бандиту и убийце. Не хотелось умирать и мне – как бы не казнил я себя в посталкогольном раскаянии.

Но в тот раз... В тот раз все шло против правил, и он сломался, должно быть навсегда – мой внутренний ограничитель. Я перестал знать меру, перестал контролировать себя окончательно – я пил ее, водку, захлеб, с яростью, ненавистью и тоской, как будто задался целью уничтожить все спиртное на земле; я падал, вставал и продолжал снова, чтобы снова упасть; я как будто вел глупый и заведомо проигранный бой с несравненно более сильным противником – и к середине запоя, неожиданно для себя, извел весь свой алкогольный запас.

Такого не случалось раньше никогда: при моем-то стаже и опыте я давно уже четко определил классическую дозу: сорок восемь бутылок, плюс-минус две, и потому закупал сразу два с половиной ящика – чтобы уж хватило наверняка. Обычно хватало – но не в тот раз.

Это должно бы насторожить – но тормоза мои, повторюсь, окончательно перестали держать. Остаться без водки в самом разгаре – дело недопустимое. Псом увечным я выполз на трех конечностях в магазин – и, едва отойдя от подъезда, потерял сознание. Умереть мне не дали.

Сердобольные прохожие вызвали скорую, два дня я провел в реанимации – и при первой же возможности оттуда сбежал, чтобы продолжить.

Я и продолжил – на меньших оборотах, но с прежней неостановимостью – и через три закономерных дня подступил, полагаю, к белому краю. Не было, не осталось уже сил терпеть, как поносят они меня последними словами, низвергают в прах, с грязью мешают и золой...

«Они» – те, кто навевался ко мне все чаще, когда я запивал. Знаю точно, что их было двое: маленький, с круглой, стриженной коротко головой, походившей на улыбчивый шар для боулинга, обросший внезапно густой шерстью – и другой, повыше, пошире и поглубже. Тот, что повыше, никогда не улыбался, и особенно мне был неприятен, а лица его я совершенно запомнить не мог: знаю, что носил он черные густые усы военного образца – вот, пожалуй, и все.

Неприятны, впрочем, были мне оба – хотя бы уже за хамскую привычку являться без предупреждения и входить без спроса, открывая дверь собственным, раздобытым непонятно где, ключом. Хотя этот самый ключ они могли запросто вытащить у меня, пьяного, из кармана или подобрать на улице – мало, что ли, потерял я этих ключей по пьяни... И все же, все же – можно бы и предупредить, и в дверь позвонить, хотя бы – а лучше бы не являться вообще! В конце концов, это была моя квартира, и гостей незваных в ней я не привечал. Отмечу, с мнением моих они не считались нисколько. Приходили и действовали мне на нервы, а прогнать их, я это знал всегда, у меня не достанет сил – потому даже и не пытался.

А в тот раз... В тот раз они, похоже, были без ключа: забухали в дверь понизу ногами, а когда поняли, что открывать им я не намерен – просто сломали замок и вошли: уверены были, что я, трусивший их непомерно, шум поднимать не стану. Вошли и расположились самым хозяйским образом: маленький – на стуле у балконной двери, большой – в бородавочном глубоком кресле.

Я, свинцовая от страха, предвидя, что меня ждет, пил быстрее бесцветный свой эликсир, пролив на шею и поперхнувшись, зная, что при них долго еще не осмелюсь этого сделать. Выпил и лег покорно, с серым своим лицом: давайте, мол, начинайте пытку.

Они и начали – за этим, собственно, каждый раз и приходили. Чем пытали они меня? Говорением. Тоже, казалось бы: слова и слова, суть пустое безобидное сотрясение воздуха – и не более. Но дело все в том, о чем говорить, и как говорить – а они эти тонкости превзошли от и до.

Все мои запрятанные по шкафам скелеты: грязные, подлые, постыдные, а иногда жестокие или страшные, из тех, о которых и сам я запретил себе вспоминать – были известны им досконально, и безостановочно, из часа в час, они занимались тем, что извлекали их поочередно наружу, выставляли на яркий нестерпимо свет и давали любоваться мне – с самой садистской жестокостью.

И говорили они отвратительно. Меньший работал, если можно сказать так, «сверлением» – начинал тихонько, ввинчивался, входил в рабочий режим и принимался методично, одну за другой, высверливать дыры в горящем моем мозгу, сооружая из них сложный, одному ему понятный узор – все это было мучительно, однако ни в какое сравнение не шло с речами старшего: тот, обвиняя, будто запускал тяжелые стальные шары по металлическому же, гро-

хочущему нестерпимо бильярду. Примерится стальным кием: ццок – и побежала сталь по стали, и загрохало так, что голова взорваться готова была от убийственного этого шума... Если младшего, с его дрелью, еще можно было как-то примирить с собою – старший был вовсе непереносим.

И худшее, худшее, что было во всем этом – неостановимость и бесконечность пытки.

А в тот раз... В тот раз я устал терпеть. Все, помню, лежал, дрожал, боялся, сочился молчаливыми слезами, после повторял полушепотом круговое «пожалуйста, хватит, не надо, пожалуйста, хватит, не надо», а после решил вдруг – и в самом деле хватит! Поднялся рывком и сел в своем одре.

И тут же они перестали пытать – разом.

– А вот это правильно, это ты молодец! – вполне нормальным уже голосом одобрил маленький.

– Точно, давно пора! – веско подытожил второй.

– А пошли вы оба на... – сказал я спокойно. Надоело мне все – и не было сил терпеть.

– Ты сюда давай, сюда – маленький оживлен был, суетился и даже вскочил, и стул подвинул с подгрохотом, освобождая мне путь.

А я и без него знал, куда мне нужно. Уже несколько часов, знал, а может и дольше, потому что тянуло оттуда холодом и чистотою, тянуло и звало – из-за балконной двери. Уже несколько часов я помнил, то что всегда знал, но на что ни малейшего не обращал внимания: я живу на седьмом этаже. А это здорово, замечательно просто – седьмой этаж, и странно, что я не понимал этого ранее.

И если повернуть ручку балконной двери, и выйти из квартирному нутра, и поглядеть вниз, то станет разом понятно, где они – холод и чистота, пугающие и манящие одновременно. Холод, чистота, а еще покой, так нужный мне сейчас: и все там, внизу, на асфальте двора.

Дерево справа и дерево слева, голые ветви их сплелись кое-где в отчетливую паутину – но все равно есть просвет, окно, через который вполне получается прочертить простую и нужную траекторию. Единственно возможную траекторию – других я не знаю, да другие и не нужны мне. Начнётся здесь, на моем балконе, а закончится – и быстро – внизу, в точке, где моё сжавшееся в судороге я обретёт, наконец – холод и чистоту. И тишину, и покой – все то, чего так не хватало мне, и что удивительным образом сходилась воедино там, в нижней точке траектории – и звало, звало так, что я полез уж было через перила, но – не пускали чьи-то руки, обхватили и не пускали, и я, помню, сбросить их пытался с себя, а после, обернувшись, увидел её – Машу.

Маша держала меня крепко-накрепко, хотя быть этого не могло, никак не могло, я знал, что она сейчас сидит в своей тёплой и солнечной Барселоне и давно уже думать забыла обо мне, и правильно, что забыла, и хорошо, что забыла, и никакой Маши здесь нет, а есть – очередная галлюцинация, видение, глюк, так мешающий мне сейчас, и тем не менее, это была она – Маша.

Поверить в это я смог не сразу – во всяком случае, в скорой, держа её за руку, я, помню, продолжал сомневаться. Скорую Маша же и вызвала, сходу оценив моё состояние, а состояние было швах: накрывало, накрывало меня все сильнее черными, страшными волнами безумия – потому и цеплялся, как утопающий, за Машину руку: за последнюю возможность спастись.

А вот как привезли меня в больницу – уже не помню. По словам Маши, врач, пытавшийся со мной говорить, отчаялся уж было хоть что-то извлечь из моих галлюцинаторных бредней, но был все же единственный вопрос, на который я среагировал адекватно и четко:

– А она вам кто? – поинтересовался доктор, указывая на Машу, и я, не раздумывая, отвечал убежденно и коротко:

– Она – мое все!

Вот так Маша, даже в безумии, назвал я тебя тогда – и ты сама была тому свидетельницей.

Все, что я записываю сейчас, я делаю, как уже говорилось, с одной целью: объяснить себе, почему мы с тобой разлюбили друг друга. Во время наших страстных ссор ты часто упрекала меня в том, что я никогда не любил тебя – никогда. И тщетно было спорить с тобой – такой же, как и я, упрямец. Но эти слова, которые ты, кстати, отлично запомнила, это слова, сказанные мною в состоянии более чем беспомощном и уж точно не располагающем к сознательному вранью – эти слова, на мой взгляд, многое значат. Не мог я тогда, хоть убей, врать или кривить душою – не мог и не стал бы.

– Конечно, конечно, почему бы и нет? – заявляла в пылу наших ссор ты. – Сваливается вдруг с неба приятная дамочка, вешается на шею, лезет в постель – почему бы и нет? Какой мужик от такого откажется? Так ты меня и воспринимал всегда. Не было у тебя никакой любви!

– Черт бы взял тебя, Маша! – возмущался я. – Но ведь так все и было – в первый твой приезд! Ты захотела приехать – и приехала. Да, приятная дамочка. Да, именно так я тебя в первый приезд воспринимал – но в другой, другой уже раз все было совсем иначе. Да ты же сама мне и рассказывала – про «моё все». Ты вспомни, вспомни!

Да, рассказывала – про «другой раз»... Когда я, запив, перестал выходить на связь, и она подумала, в очередной раз: «Боже, как хорошо, что все кончено, что все это это совершенно теперь меня не касается!», и ведь не касалось, здесь она права. Не касалось день, и второй, и ещё несколько, и ещё, а потом она легла как-то спать и проснулась в середине ночи, внезапно и с точным знанием, что где-то там, в чужой странной стране, умирает и совсем скоро умрет человек – если его не спасти.

И уже ранним утром она в беспросветно спокойном такси добралась до аэропорта и мучительно медленным самолетом летела в Москву, а оттуда поезд – хороший, но тоже неисправимо медленный – вез ее в мой город, и таксист непростительно мешкал, норовя захватить все без исключения пробки, и лифт не шел, но полз умирающей черепахой, зато дверь в квартиру мою не была заперта, и Маша – успела. Без Маши – я знаю наверняка – время мое, вещь хрупкая и больная, разлетелось бы, рухнув с балкона, в никому не нужные дребезги.

«Другой раз»... Другой раз и вообще был печален. Маша отвезла меня в больницу, забрала из больницы и сразу же едва не угодила в больницу сама: сделалось плохо с сердцем.

Помню, как страшно было уже трезвому мне: не дай Бог, с ней что-то случится! Но обошлось, и наутро, на такое же, как все остальное, выкрашенное в цвет негромкой трагедии, утро Маша, заглянув серьезно в самые глаза мне, тихонько сказала:

– Когда ты пьешь, ты убиваешь не только себя. Теперь ты точно так же убиваешь и меня. И я, наверное, умру даже скорее. Если бы ты знал, как мне плохо, когда ты уходишь в эти свои запои – но чтобы прочувствовать это, нужно оказаться в моей шкуре... У меня сердце останавливается, и, кажется, остановится вот-вот. Ну и ладно. Все что нужно, я сделала. Дети, в конце концов, уже большие. А муж – чужой мне человек. Я его не люблю. Полагаю, и он меня тоже – что бы там ни звучало на словах. Так что трагедии большой точно не будет...

Она не упрекала, нет – даже в малой степени. Мы пили кофе и курили в кухне, и Маша, голосом тихим, серым, как ноябрьское небо Тамбова, просто констатировала факт. Факты, ни один из которых не был светел. Я молчал. Я не любил давать обещаний – в особенности тех, которые не смогу выполнить. Я видел, что она говорит чистую правду: за несколько дней она здорово постарела и выглядела совсем больной. И скорую к ней я вызывал неспроста.

Оба мы были одинаково подавлены, потому что впервые по-настоящему осознали: все гораздо серьезнее, чем могло показаться вначале. И что делать с этим «серьезнее» – мы не знали. Оно, это «серьезнее», явилось не спросясь и не дав нам выбора. Ни выбора, ни перспектив. Никакого будущего – для нас вместе – не было и быть не могло, и оба мы слишком хорошо понимали это. Все, что было у нас тогда – дважды пройденный замкнутый круг, по которому, может быть, нам дадут пройти еще несколько раз – словно двум обреченным осликам.

Разумеется, мы многого тогда не знали.

*. *. *

Мы многого тогда не знали.

Я не знал, например, что больше никогда не притронусь к спиртному – это я-то! – а ведь так и вышло, и выяснилось это три месяца спустя.

Три месяца после того, как истекли десять совместных дней и Маша улетела к себе, я держался – а после, с полным осознанием своего ничтожества, купил положенных пятьдесят бутылок, побеседовал с Машей по телефону ещё разок на трезвую голову, зная, что это долго теперь не повторится, если повторится вообще, налил первые сто, намереваясь поскорей проглотить и приглушить хотя бы слегка «муки совести», хотя звучит это, применительно ко мне, смешно, поднёс уж было ко рту – и не выпил.

Не выпил. Не выпил, потому что вспомнил сказанное ею в последний приезд, и представил отчётливо это картинку: я, здесь и сейчас, вливаю эту чёртову водку в себя, а в одно время с этим – где-то там, за четыре тысячи километров, в другом городе и стране – самый дорогой мне человек получает порцию яда. И не пьянствовать я сейчас собираюсь, но насмерть травить человека, который когда-то уже оттащил меня от окончания моего нелепого я. Человека по имени Маша – вот так. Маша, Маша меня оттащила, а я ее, в благодарность за то – насмерть. Ядом. Это понять нужно было, как следует – и я понял. Понял, как понял навсегда и другое –

пока Маша со мной и любит меня, я пить не буду, точно. А если случится, что я умру раньше нее – так и вовсе чудесно: значит, пить не придется вообще.

...Много позже я не раз спрашивал ее, так и не в силах понять:

– Послушай, Маша, но ведь это невероятно просто: как ты вообще решилась связаться со мной? Ведь видно, видно было с первого взгляда, что я я а последней стадии разложения находился, что мне до могилы был ровно один шаг, и если бы я этот шаг сделал, то и жалеть обо мне никто не стал бы. Ты же понимала это?

– Понимала, – соглашалась Маша охотно. – Ты действительно был ужасен. Ах, как же ты был ужасен! – Она мечтательно уводила в небо глаза, представляя. – Страшен, отвратителен, нелеп – я все это видела. У меня, не забывай, уже был опыт – жизни с первым мужем. Так что все алкогольные штучки и все эти стадии разложения мне знакомы отлично.

– Нну? – продолжал не понимать я.

– Что «нну»? – передразнивала она. – Просто я видела, вот так вот, сходу видела и знала, что это – не твоё. Это не твоя жизнь. Я видела и знала, что ты другой – и для другого. Знаешь, тебя все уже списали со счетов. Все, как есть. И родители, и брат... Никто не верил, что ты выберешься. А я знала: ты сильный и сможешь. Я же видела. Я была просто уверена в этом на все сто и, как видишь, не ошиблась.

– Невозможно! – упорствовал я. – Невозможно было увидеть это и рассмотреть! Ты же не ясновидящая, Маша!

– Не ясновидящая, – легко соглашалась она. – Зато бабушку мою вся деревня ведьмой считала. Поэтому и мне, похоже, кое-что перепало. Я ведь еще и этих твоих забрала!

– Кого «этих»? – недоумевал я.

– Да знаешь ты, кого – начинала сердиться она. – Тех двоих, что мучили тебя годами. Знаешь-знаешь – не притворяйся. Маленький, с круглой головой, и другой – усатый. Это черти были, Сережа. Вот я себе их и забрала. Они месяца два еще потом ко мне приходили, помучивали ночными кошмарами, я даже кричала, помнишь, во сне – а потом исчезли. Предупредили, что больше не придут – и исчезли. Вот так...

В том, что говорила она, я слышал самую настоящую мистику: Маша рассказывала о вещах, которые мог знать только я – но я никогда с ней разговоров на эту тему не заводил. Тайна. Тайна? Тайна – Маша и вообще носила в себе множество загадок, многие из которых так и остались неразгаданными мною до самого конца наших десяти лет. Но до конца требовалось еще добрести – а тогда...

А тогда... Тогда были еще два ее приезда, как и прежде, на несколько дней, да и все было как прежде, разве что я был трезв, да прибавлялось от раза к разу невысказанной, но ходившей рука об руку с нами тоски.

Мы пробегали круг, мы проживали два или три месяца за пять-шесть дней, всего запасая впрок, чтобы на запасе этом дотянуть до круга следующего. Жадно раскрытыми ртами мы хватили каждую из утекающих непростительно минут – и каждой старались насладиться сполна.

Мы, кажется, не выбирались из постели вовсе, истязая друг дружку без перерыва и множество раз – и каждый последующий был жарче, чем предыдущий. Только-только мы переступали порог квартиры, как он начинался: непрерывный секс-марафон с элементами спринта – начинался, чтобы закончиться ровно за минуту до отъезда Маши на вокзал, да и то – с угрозой опоздания: времени катастрофически не хватало.

И в то же время мы много, много – сейчас кажется, бесконечно – и с бесконечным же удовольствием ходили по магазинам, покупая горы самых разных вкусовностей, которые потом так же бесконечно и с тем же жадным удовольствием, поедали – нам нужны были силы для постельных ристалищ.

При этом я замечательно помню, что мы любили подолгу и просто лежать, переплетаясь с другом другом везде и всем, чем только возможно – лежать и слушать наше общее сердце. Нам приятно было лежать так: без пространства и времени, без памяти и тоски, растворяясь друг в друге и в ощущении дарованного нам непонятно откуда горячего счастья. Лежать так, одним и единым «мы», тоже можно было бесконечно, да так оно, кажется, и было.

И ещё: когда Маша спала, я любил смотреть на неё, спящую. Усаживался на край кровати и смотрел – долго, долго. В первый дурацкий раз я даже не запомнил её лица, и потому наворачивал упущенное, смотрел, смотрел и не мог насмотреться, это затягивало и грозило поглотить без следа, да я и готов был, и хотел – поглотиться: мне нужно было выучить, до самой малой морщинки, родное её лицо на несколько месяцев вперёд... Думаю, она чувствовала взгляд мой, потом что, спустя полчаса или час, тихонько стонала во сне и начинала водить рукою обочь себя, там, где должен был находиться я – и я спешил улечься в постель обратно.

Сейчас, по прошествии времени, создаётся ощущение, что на эти совместные несколько дней наши с Машей субстанции, по неизвестной милости, раздваивались, растраивались и даже раздесят�ерялись, и каждая из наших параллельных пар жила от начала и до конца исключительно своей задачей – чтобы мы могли как можно больше успеть...

Да, да, именно так и было: много, жадно, и быстро, быстро, вздох – потому что вот-вот все должно было закончиться, и конечно же, заканчивалось, и я стоял на перроне – один, и перрон с поездом, разругавшись насмерть, устрашающе мчали в разные стороны, и все потому только, что нельзя, невозможно надолго – чтобы людям было так хорошо...

Конечно же, я видел и другое. Я видел, что ей все тяжелее становится лгать, придумывая несуществующие поводы для визита к московской родственнице, и видел, что все более тяготит ее сама необходимость этого вранья.

Именно так – даже не измена мучила ее более всего: цельная Маша считала, что невозможно изменить мужчине, которого не любишь и не считаешь настоящим мужем; секс и вообще для нее существовал лишь в приложении к любви – и потому, в сложившейся ситуации, неестественной, напротив, для нее являлась необходимость спать с тем, кого она не любила – необходимость, которой она старалась по возможности избегать... Не измена,

но ложь, летавшая, словно маятник, смертным грузом над головой, причиняла ее наибольшие страдания.

Ложь уродовала и низводила наши отношения до уровня банальной интрижки, какого-то мелкого и пошлого приключения на стороне, хотя обы мы знали, что это не так. Ложь, даже приправленная какими-то оправданиями, была сама по себе блюдом малосъедобным – и потому, когда все внезапным образом раскрылось, мы испытали явное облегчение.

* * *

Вообще, все происходило не так уж «внезапно». Не стоит сбрасывать со счетов Машиного мужа, о котором я не люблю вспоминать, но без него никак не обойтись: все же во всей этой истории он был лицом не совсем сторонним. Более того, вот подумалось сейчас: если бы у Маши с ним все было складом и ладом – разве появился бы я в её жизни? Нет, нет и нет! С этим даже Маша иногда соглашалась – подчеркиваю: иногда. А если бы я не появился в жизни Маши, или, точнее, она в моей – разве существовал бы я теперь? Разве лежал бы сейчас в своей прекрасной каталонской глуши, решая замысловатые ребусы относительно того, кто там, кого и как разлюбил? Нет, лежать-то я, конечно, лежал бы, но в другой стране, и не в постели, а на Ново-Белицком кладбище, полагаю – будь все у Маши с мужем хорошо. Как удивительно, прекрасно, непостижимо заплетается все в магическую нить, и потому, так уж выходит, Машин муж – персона совсем в этой повести, да и жизни моей, не чужая.

Достаточно долго муж существовал для меня в виде абстракции, о наличии которой мне было известно по косвенным признакам, в частности, Машиным случайным упоминаниям. Были они очень нечасты, и все, что я мог понять из ее обрывочных высказываний – это то, что прежней близости больше нет. Сам я, в особенности, после ее приезда ко мне, эту тему старался не затрагивать вообще – в конце концов, это был Машин муж, а не мой, и регламент в этом вопросе устанавливала она. По-настоящему я осознал сам факт его материального присутствия только после того, как стало понятно, что у нас с Машей – не просто так.

К тому времени кое-что Маша стала рассказывать и сама, не о нем даже, а о них, о совместной их жизни – не злословя и нее оскорбляя, но, напротив, пытаюсь максимально объективно объяснить и мне, и себе, почему случилось то, что случилось – а именно, первая и единственная в ее супружеской жизни измена. Ей важно, очень важно было понять это самой – а заодно, убедить меня в том, что случившееся – событие в ее жизни уникальное, выходящее из ряда вон. Впрочем, меня в этом убеждать не требовалось: я говорил уже, что почувствовал Машу – всю, до донца – едва ли не в первый момент знакомства, почувствовал и знал наверняка, что врать она не любит и не умеет.

Да, да – не умеет. Если бы даже муж был слеп, как четыре крота, все одно пребывать в неведении ему пришлось бы недолго – Маша, измучившись ложью, призналась бы ему во всем сама. Она и так не очень-то скрывалась. Как только серьезность наших с ней отношений обозначилась явно, она, например, быстро перебралась из супружеской спальни в закуток между кухней и прихожей, перетащив туда компьютер и туманно объяснив мужу, что для того, чтобы заниматься писательским делом, требуется абсолютное уединение. Из уединения этого ему удавалось вырывать ее все реже и все с большим трудом: как я говорил уже, плотские отношения без любви Маша считала все той же ложью, какую не переносила на дух. Согласен, можно понять и мужа, и даже посочувствовать ему, далекому от всех этих тонких душев-

ных материй – но любовь жестока, как ребенок, и авторитарна, как вахтер. Она не спрашивает и не предлагает – но ставит в злую известность.

Сейчас, когда мы с Машей не вместе, я говорю об этом без всякого ерничанья и просто стараюсь быть максимально точным относительно всех троих – Маши, мужа и меня.

Первые подозрения... Первые серьезные подозрения в том, что Маша что-то скрывает, появились у мужа в связи с той самой книгой, в которой она приняла необъяснимо живое участие, и на обложке какой, а заодно и в жизни его впервые проявилась моя хмурая и откровенно подозрительная даже мне самому физиономия. По словам Маши, муж сразу же невзлюбил меня, заочно и горячо – что же, как выяснилось, нелюбовь эта оказалась пророческой.

Когда же Маша, уже после завершения всех книжных дел, зачастила вдруг в Москву к родственнице, с которой до того встречалась ровно трижды за десять лет – подозрения эти только усилились. Да и не зря, в конце концов, они прожили столько времени вместе: не мог он не чувствовать, что с Машей что-то происходит. Когда подозрения обратились в уверенность, муж со свойственной ему царской прямоотой принял меры: нанял специалиста, взломавшего ее почтовый ящик. О, человеческое неумное любопытство! Наша переписка была обильна и чиста – но явно не предназначена для его слегка близоруких глаз.

Хорошо помню Машин звонок:

– Ну вот, он все знает! Взломал мою почту, обнаружил наши письма. Наконец-то этот кошмар закончился, – она говорила тем неестественно ровным голосом, который бывает у людей в состоянии глубокого шока, – и вместе с тем я видел, что она испытывает сильнейшее облегчение, как будто добралась, наконец, до дантиста и вырвала причинявший жестокую боль зуб.

– И что? Что там происходит? Как ты? – зачастил испуганными вопросами я. Я не знал, что бывает, когда муж обнаруживает измену жены. Мне не приходилось быть мужем. И жены у меня никогда не было.

– Как и предполагалось, – отвечала Маша спокойно. – Рвет и мечет. Разбил вазу и с десяток тарелок. Вазу жалко – моя любимая. Была. А он – истерит. Орет, что все принадлежит ему, и, если я не одумаюсь, то сдохну от голода под забором. Это, собственно, я и ожидала услышать. Он и раньше намекал уже как-то, что со мной, в случае чего, будет. Так, для профилактики, видимо. А сейчас бесится, визжит, как баба. Слюной брызжет... Противно. Я закрылась у себя – пусть успокоится, чтобы с ним хоть как-то можно было разговаривать. В общем, он не решил ещё, как со мной поступить – может, и вообще, по его словам, прощения мне никакого не будет.

Я слышал и ощутил, за четыре тысячи километров, как ее передернуло.

– «Прощения»... Господи, как же я рада, что он вскрыл эту почту! – искренне сказала она. – И как жаль, что я потратила на него двадцать лет жизни. Я ведь давно видела, что происходит – но зачем-то терпела. Царь, видишь ты... Царёк. Тьфу, мерзость. На твой счет прохаживается, естественно. В лучшем случае, говорит, этот алкаш и уголовник бросит тебя через неделю, а скорее всего – убьет. Зарежет по пьяни. Ненавижу. Не-на-ви-жу. Тьфу! Дура! Я дура. Как хорошо, что все закончилось. И врать не надо – я ведь, с этим своим враньем, хуже

него была. И вина моя перед ним в том, что не нашла в себе силы рассказать обо всем сразу. А теперь – все. Давно нужно было... И ведь не знаю, что делать сейчас.

И здесь, милая Маша, в противовес всем твоим упрекам в том, что я никогда не любил тебя, хотел бы напомнить, что после слов твоих я – этот мизантроп и одиночка я, этот отшельник и пустынный я – поразмыслив ровно секунду, сказал:

– Как это «не знаешь»? Тут и думать нечего! Приезжай ко мне – прямо сейчас! Вот прямо сейчас и приезжай!

Это один из немногих поступков моих, за которые мне не стыдно – за то, что так не долго собирался с мыслями перед тем, как произнести эти слова. А ведь раньше, до тебя, Маша, я бы, не колеблясь, постарался отмахнуться от проблемы и ляпнул бы, притом, даже грубо, что-нибудь вроде: «Делай, что хочешь. Твоя проблема. Сама эту кашу заварила, сама теперь и расхлебывай. Силой тебя никто ко мне не тащил. Нужно было думать о последствиях.»

Не сомневаюсь даже, что ляпнул бы: за одинокие годы я привык к ней – своей личной автономии и цнил ее превыше всего. Но это раньше – до тебя, Маша. А тогда... Тогда впервые в своей никчемной жизни, я ощутил ее: ответственность за другого человека. Знаю, звучит выпендрено – но так и было. И так, с большим запозданием, начиналось мое настоящее взросление.

Именно в то время, когда самолеты и поезда приближали Машу ко мне, уже в «официальном статусе» и стостоялся мой первый «живой» разговор с мужем, в ходе которого он преподал мне тот самый урок житейской мудрости, но на этом свою бурную деятельность по возвращению блудной Маши в свой чертог не прекратил.

Как я уже говорил, поначалу он пытался застрашать Машу нищетой и подзаборной жизнью, которая неминуемо ждет ее, если она не одумается и не забудет о моем существовании навсегда. Когда же Маша не застрашалась, не одумалась и все-таки улетела ко мне, ясно дав понять ему, что излюбленным домашним животным быть при нем больше не желает, муж несколько приуныл, но сдаваться не собирался.

Мне, к слову, и вообще странно, что, прожив с ней два десятка лет, он так и не усвоил, что пытаться запугать Машу – дело заведомо проигрышное. Она действительно могла долго терпеть, но когда доходило до открытой конфронтации, любая попытка давления на нее давала эффект, прямо противоположный ожидаемому. Как и во мне, в ней был сильно развит дух противоречия – что позже очень мешало нам на протяжении нашей совместной эпопеи.

Тогда же муж здраво рассудил, что еще далеко не вечер (так и было, на деле едва-едва занималась заря), и планомерно принялся воплощать свои угрозы в жизнь. Первым делом, в рамках программы экономического воздействия, он снял со счета предприятия весьма внушительную сумму, предназначавшуюся на зарплату рабочим – а позже искренне (так и представляю его ясные, как родниковая вода, глаза) заявил Маше, что деньги, находясь в состоянии глубочайшего горя, он потерял – все, как есть – и даже не помнит, как, когда и где это случилось. Гм... Гм... Поверить ему невозможно, проверить – нельзя, потому вопрос этот пустослов Антея целиком на его совести. Впоследствии, кстати, мы с Машей выплачивали этот долг два года – сам муж к тому времени успел покинуть страну.

Придя в себя, она тут же обзвонила всех трех (уже совершеннолетних и, кстати, способных понять все адекватно) и несколько успокоилась: никто и не думал от нее «отказываться». «Муж номер два» попросту выдал желаемое за действительное – так и пнул бы его за дешевую и пошлую, как сам он, патетику в ребра!

И все же зерно сомнения дало всходы. Чуть погода Маше вновь стало казаться, что так и есть – дети от нее «отказались», а не говорят ей о том лишь из остаточной жалости: единственного, что способны к ней сейчас испытывать. К тому же, она прекрасно знала, каких невероятных небылиц способен был «царек» наплести и, без сомнения, наплел им.

Две недели я наблюдал, как Маша день ото дня закрывается в себе – наблюдал, все более отчетливо понимая, что перспектива нашей с ней жизни в моей стране рушится безвозвратно. Хитрюга муж нашиел ахиллесову пяту Маши – к концу этих двух недель она поняла, что жить вдаль от детей попросту не сможет.

Что же, это так: ни тогда, ни после Маша не отрицала, что она – «сумасшедшая мать». Мы сели и обсудили ситуацию. Маша собиралась, по ее словам, слетать ненадолго в Барселону, созвать еще один семейный совет, теперь уже с ее участием, и расставить все точки над «i».

– Я просто хочу, чтобы дети знали всю правду – а не ту дрянь, которую он посчитал нужным им сообщить, – сказала она. – Уверена, они все поймут и не осудят. Но я должна убедиться в этом лично, глядя им в глаза. Это мои дети, и для меня это очень важно. И еще, – добавила она. – Я хочу все же побороться. Какого черта этот царек решил, что все принадлежит ему? Я, в конце концов, придумала этот бизнес, и я когда-то пахала как проклятая, пока все не наладилось. А потом сделала его «директором» – и вот к чему это привело. Но сама дура. А сейчас я просто хочу, чтобы он в присутствии детей еще раз рассказал, кому принадлежит все – и посмотрю, что он запоет. Одним словом, я должна быть там. Что ж, слетаю и сразу вернусь.

Полагаю, она верила, или почти верила, в то, что говорила: слетает и вернется. Но я знал уже, и знал со стопроцентной точностью: как бы там у них не разрешилось с мужем, жизни у нас с Машей здесь, на моей постсовковой родине, не будет. И если даже через месяц она вернется, то вскоре снова улетит – туда, к детям. И глупо было бы осуждать ее за это. И никакого права осуждать ее вообще за что-либо у меня не было. Да и не думал я, честно говоря – осуждать.

В тот раз, провожая ее на вокзал, я совсем не был уверен, что мы когда-либо увидимся с ней еще. Я не был даже уверен, что она позвонит мне, когда доберется до своей Барселоны. Вот такая история: все рушится – и виноватых нет. Чтобы понять, что тебе по-настоящему дорого, нужно обязательно этого лишиться.

Если бы все происходило раньше, я знал бы, где утопить тоску. Я бы попросту купил сорок восемь бутылок, плюс минус две – и проблемы перестали бы для меня существовать – все, разом. А сейчас у меня даже такой возможности не было. Я решил, что первым ни звонить, ни писать ей не буду – пусть, если сочтет нужным, сделает это сама. И все скажет – все, о чем я и так уже догадывался.

Она не выходила на связь сутки, другие и третьи – а потом, в неожиданную полночь, во тьме и спросонья, я бежал, сшибая углы, на грустно-задумчивый вызов Скайпа.

Звонила Маша, чтобы сказать мне то, что я и ожидал услышать. Теперь мы пользовались Скайпом, к голосу прибавлась еще и картинка, и по родному, по любимому лицу ее я видел, что опять она ревела и, похоже, не одну ночь напролет.

– Ну что... Прилетела и собрала всех еще раз, на семейный совет – и этого козла, и детей, – сказала она. – Сидели на террасе, говорили до утра. Попросила еще раз, при детях, повторить: кто здесь «всего добился сам», кто отправится «под забор». Начал было ерепениться, так я ему напомнила – все обстоятельства нашей жизни. Долго напоминала – там есть что. Признал, в конце концов, что моего труда тут не меньше вложено, мягко говоря. Признал – хотя что это меняет... Сейчас, кроме обмана и подлости, от него ничего не добьешься. Господи, сколько же лет я слепой душой жила! Все связи и контакты теперь у него – и я сама же это и допустила. Но это ладно, это мы еще поборемся. Я о другом, о главном хочу сказать. Вот вернулась сейчас и поняла окончательно, что не смогу я без них – без детей. Не смогу. Они для меня все такие же – такие же маленькие и останутся такими всегда. Им нужна я – а они нужны мне. Как только этот козел поймет, наконец, что к нему не вернусь – а я к нему не вернусь ни в коем случае – то он тут же и думать про них забудет. Даже про мелкого, про родную кровь – не говоря уж о старших. У него такое уже было один раз – с первой семьей. Вычеркнул и забыл, как и не было их. Так и этих вычеркнет. А куда мои дети без меня? Кто им поможет? Какие они, к черту самостоятельные – так, видимость одна. Вот так. Вот такая ситуация. Я и бросить их не смогу, и жить без них – тем более. Сейчас я окончательно это поняла. И без тебя я жить не смогу тоже. Господи – что же это такое? Часто прилетать к тебе сейчас не получится: с деньгами все хуже, да и козел этот наизнанку вывернется, чтобы оставить меня вообще ни с чем. Он найдет способ, не сомневайся. У тебя тоже не те доходы, в твоей-то стране. Какие перспективы? Будем встречаться раз-другой в год, на несколько дней. На сколько нас хватит – не знаю. Не думаю, что надолго. Вряд ли мы это выдержим – долго. Есть ли выход? На мой взгляд, есть, и знаю, что ты и слышать о нем не хочешь. Но все-таки скажу: единственный выход – ты переедешь в Испанию, ко мне. Знаю-знаю, ты сейчас невыездной из-за судимости, но ведь через год, ты говорил, ее снимут? Если бы, если бы ты согласился – это был бы выход...

Я знал и боялся, что она это скажет. Боялся, что скажет, и знал, что эти слова в конце концов прозвучат. Я не хотел никуда ехать. С той поры, как я бросил пить, и у меня наладилось с работой, мне помаленьку начала нравиться жизнь здесь, на родине. Меня, как выяснилось с началом трезвости, любят ученики, уважают родители их, для которых я быстро сделался Сергеем Валерьевичем, и, что тоже немаловано, я не так уж плохо, по местным меркам, и зарабатывал. Не Бог весть что, но для начала трезвой жизни в своей стране – довольно прилично. Я не хотел уезжать в чужую и страшную Европу. Только-только я начал вставать на ноги, только-только я стал ощущать его – совершенно мне ранее незнакомый вкус трезвой и стабильной жизни, и тут на тебе – новая неопределенность. Здесь дело не в том даже, что на тот момент я не был, из-за прошлых грехов, выездным. Дело в том, что я просто не планировал никуда выезжать. Не хотел, не хотел я в эту их Европу – я привык к своей. Там, в чужом и чуждом западном мире не было ничего, дорогого мне. Ничего, кроме Маши. А значит, там было все. А значит, выхода иного у меня тоже не было – только переезжать, когда это станет возможным.

Так в моей жизни обозначилась смутным будущим контуром она – Барселона.

И пришел год Скайпа.

* * *

Так и было: следующие одиннадцать месяцев – ровно через столько мог я пересечь границу – мы прожили с Машей под знаменами Скайпа.

В конкурсе на звание самого активного скайп-пользователя, вздумай кто его провести, мы с Машей легко взяли бы все призовые места, оставив в далеком хвосте любых конкурентов. Все время жизни, за исключением отлучек из дому по работе или в магазин, мы с Машей были вместе благодаря этому замечательному изобретению.

Поначалу, конечно, мешал «муж номер два», никак не желавший смириться с приставкой «экс». Какое-то время Маше приходилось делить с ним жилплощадь – и время это он затягивал намеренно, не оставляя надежд все же вернуть восставшую супругу в лоно.

Убедившись, что угрозами с Машей не совладать, он пробовал было давить на жалость. Не раз и не два Маша, проходя на террасу курить, заставляла его лежащим на диване, с рукой, крепко прижатой к тому месту, где у хороших людей обычно бывает сердце – и вид при том у него бывал самый что ни на есть страдальческий. Обмирая от страха, цепenea от оживающего мгновенно чувства вины, бросалась она на помощь, тащила лекарства, ухаживала, хлопотала – и невероятно страдала при том: ведь все муки этого человека – из-за нее!

Когда подобная история повторилась в пятнадцатый раз, без каких-либо последствий для здоровья бывшего супруга, она заподозрила, что ее снова водят за нос. Как только она это поняла и стала реагировать соответственно: то есть, вызывала с бесстрастным лицом неотложку – здоровье мужа резко пошло на поправку, и боли в области сердца прекратились так же внезапно, как и начались.

Тогда в срочном порядке он поменял тактику и стал при каждой возможности попадаться Маше на глаза с видом возвышенным и томно-печальным – а когда она довольно-таки лукаво интересовалась, что это у него с с лицом, муж тут же норовил перевести беседу в область высоких чувств, всячески давая понять ей, что, невзирая даже на измену, он продолжает, как и прежде, любить ее и будет любить вечно, и не посмотрит более никогда в сторону другой женщины, потому что никаких женщин, кроме Маши, для него не существует – вот такая у него к Маше любовь! Сильная, благородная и на всю жизнь. Маша неопределенно кивала и почему-то не спешила верить ни единому его слову.

Убедившись, что нежностями ее тоже не пронять, он быстро развернулся в сторону глубокого домостроя и попробовал выйти на сцену в образе настоящего сурового мужика, властелина и хозяина – то есть, того же царя, но с брутально-народным уклоном.

Хорошо помню как мы беседовали с Машей в Скайпе – как вдруг в дверь ее кабинета, запертую на защелку, сильно и властно постучали и властным же голосом мужа грозно потребовали открыть. Маша, разумеется, и не подумала – все семейные отношения меж ними были прекращены, дело оставалось лишь за разводными формальностями. Она вежливо просила его уйти – в ответ в дверь забарабанили еще сильнее.

– А что если сломает? – спросил, опасаясь, я. Мне не нравилось наблюдать за происходящим, сидя за четыре тысячи километров.

– Да может, пожалуй, и сломать, – признала Маша раздумчиво. – Кормила я его хорошо, опять же – в спортзал регулярно ходит, тренируется. Почему бы и не сломать? Здоровья хватит!

Тут же, в подтверждение слов ее, раздался оглушительный удар, треск выбитой задвижки, Машин спонтанный крик, мелькнула злая тень, экран взметнулся мигом вбок и вверх – и связь прекратилась, будто и не было ее вовсе.

Охваченный липким мгновенным ужасом, воспоминание о котором живо и посейчас, я лихорадочно давил кнопку вызова – тщетно. Маши не было в сети. И только ли в сети? Эта черная молния, этот её отчаянный крик, обрезанный зловещей тишиной... Что, что там произошло? Что сделал с ней этот домашний маньяк? Жива ли она вообще?

О, Маша! Губы мои дрожали, и руки мои дрожали, и пальцы плясали Виттом и метили мимо цифр твоего номера – но я все-таки набрал его, пытаюсь достичь тебя через телефон – все зря, зря! В панике метался в тесной клетке квартиры, за пять минут уничтожил шесть сигарет и звонил, звонил, набирал твой номер не переставая, охваченный мрачайшими предчувствиями – и едва не вскричал и не восплакал от радости, услышав, наконец, твой голос.

– Что, что эта скотина с тобой сделала?! – я убью его, гада, разорву на части, если он тебя хоть пальцем тронул! Если хоть волосок упал с твоей головы... Скотина! Тварь! Убью! Маша, Маша, ты цела?! Убью!! – ревел я тогда, помню, гласом трубным и диким в своей первобытной мощи, сожалея безмерно, что меня нет сейчас рядом с ней.

– Кишка у него тонка, меня пальцем тронуть, – отвечала Маша спокойно и даже весело. – Никогда такого не было и не будет. С рук ему это не сойдет – он знает. И всегда знал. Ишь ты, иван грозный какой выискался... А вот ноутбук расколотил мне, да. Отправила его покупать новый – и пусть только не восстановит мне все через час! Эй, эй, что ты! Ты там не волнуйся так – я за себя смогу постоять.

А я плакал, на самом деле плакал, не стыдясь, от радости – что она цела, жива, и я слышу родной её голос.

«Второй номер», однако, не унимался. Вскоре заплакала уже Маша – и позвонила в слезах.

– Осторожней ходи по улицам, а вечером и вообще из дому не ногой, даже за сигаретами! – инструктировала сквозь слезы она. – И дверь входную не забывай запирать, как следует. Этот козел нанял киллеров!

– Каких ещё киллеров?! – удивился я. С появлением Маши моя жизнь сделалась гораздо более разнообразной.

– Обыкновенных! – отрезала, продолжая слезиться, она. – Жорик, есть тут бандит один, из знакомых, случайно проболтался. Не знал ещё, что мы разошлись. Твой-то, говорит, грохнуть, что ли, кого задумал? Пересекались на днях, так он расспрашивал все: что, да как, да почему, и какие у меня связи-выходы, и какие сроки – в общем, проявлял конкретный интерес. Кого, Жорик меня спрашивает, валить-то твой ненаглядный собрался – я так там и обмерла вся. Проверь замок – закрыто ли? Я сразу домой, давай припирать этого гада к стенке – он, конечно, юлит, дескать, ни сном, ни духом, какие ещё киллеры – но я-то его как облупленного знаю. Вижу, врет, врет, да ещё и улыбается так подленько. Нанял, гад, или наймёт вот-вот обязательно – тем более, что и расценки у вас там бросовые. Я его предупредила уже: если хоть

волос с твоей головы упадёт, ему, гаду, не жить тоже, ни дня, ни часа – пусть знает. Теперь ты, говорю, не киллеров, а охранников ему нанять должен – если собственная шкура дорога. Проверь замок – заперто ли. Не «угу», а сходи проверь! Господи, за что мне это все!

Она зарыдала в голос, а я, холодея от любви, от нежности к ней, несвойственным мне шалопинским басом утешал, успокаивал, стараясь, чтобы голос мой звучал максимально солидно, говорил, что все это пустяки, и пусть только попробует, и у меня свои, в конце концов, связи с прошлым миром, и голыми руками меня не возьмёшь...

Как же я любил ее за то, что она плакала и убивалась из-за меня! Никто и никогда, с тех пор как я ушёл по кривой тропе чересчур далеко и, заблудившись, остался один – никто и никогда не плакал из-за меня, не боялся за меня, не тревожился обо мне – а ведь всякому, даже самому плохому, самому волчьему человеку важно знать, что кому-то он дорог...

По-моему, мне удалось ее успокоить, а сам я принял угрозу не очень всерьёз – хотя, памятуя Машины слова о «бросовых расценках», с месяц, наверное, ходил внимательно, в каждом плохо одетом встречном подозревая бюджетного киллера, вынужденного работать по постыдно низким белорусским тарифам. В завершение этой темы скажу – меня так, в конце концов, и не убили.

Через пару недель после «киллерского эпизода» муж, наконец, несколько притих и съехал в замечательный дом в пригороде.

– Одной только одежды набралось двенадцать чемоданов, – не без гордости делилась Маша. – Он у меня досмотрен был, одет, обут, и вообще – как сыр в масле катался. Вот только за собачку дрессированную зря меня принимать начал.

Вскоре после переезда интернет-сайты знакомств запестрели красивыми фотографиями её бывшего супруга. «Вечная любовь» к Маше, задекларированная мужем за пару недель до того, приказала, похоже, долго жить. Это, на мой взгляд, как раз нормально: старые отношения прекращаются – возникают новые. Ненормально, скорее, было вещать о «единственной и на всю жизнь» – без веских на то оснований, но с пафосом провинциального актера и максимализмом девятиклассника. Маша увидела эти снимки случайно (подказала доброхотка-подружка, бывшая в курсе их семейных дел), и, смеясь, показывала мне.

Было действительно забавно: муж на фоне непомерной виллы, муж на фоне гигантской яхты, муж на фоне огромной черной машины. Снимки сопровождались комментарием: «Все получилось и все в этой жизни есть, не хватает только тебя: нежной, любящей, покладистой и миловидной женщины без детей в возрасте от 24 до 35 лет.»

Из всего имущества, запечатленного на снимках вместе с ним, мужу принадлежал только грузовой, купленный в кредит, джип – остальное было позаимствовано в качестве фона у более крупных махинаторов, причем, явно без их ведома. Зачем? Зачем? Бог знает – ведь у него были тогда и свои доходы, более, чем достаточные, чтобы «покладистые и миловидные» помчали на зов его любящими и нежными табунами. Снова понять его нелепую, хотя и невинную, по сути своей, ложь, было сложно – хотя комический эффект, надо сказать, удался.

Кстати, тогда, на этих фотографиях, я впервые увидел его – силою обстоятельств совсем не чужого мне отныне человека.

Как вскользь обмолвилась ранее Маша, внешне он действительно являл собой довольно качественную копию знаменитого в прошлом актера Чака Норриса. О том, похоже, мужу было известно – от той же Маши – и потому сходство это явно культивировалось и доводилось до максимально возможной степени: вплоть до легкой каштановой гривы и густеньких, идеально подстриженных, выполненных, я бы сказал, из редчайшего и дорогого меха, усов – все это, разумеется, «а ля Чак».

Да и вообще, справедливости ради, должен признать – он и в самом деле был очень ухожен, аккуратен, невелик и ловок, неброско и явно дорого одет и в точности подходил под определение «сыра в масле», данное ему Машей. Две крупных бородавки, из-за которых муж в свое время изрядно комплексовал, давно были сведены медицинским путем по настоянию все той же заботливой Маши – после чего портрет его обрел законченность шедевра.

Скажу более: с прискорбием я должен был признать, что сам, даже бросив пить, не обладаю даже десятой долей солидности, присущей «второму номеру». Сам я по-прежнему напоминал все того же диковатого пролетария с исподлобным взглядом и явно уголовным прошлым – к величайшему моему сожалению. Что до «второго номера» – он смотрел в объектив с легким мужественным прищуром, выдававшим человека умудренного, познавшего жизнь и борьбу и вышедшего из этой передряги победителем.

Если бы годность человека определялась исключительно его внешним видом, муж мог бы стать мне образцом для подражания до конца моих дн... Впрочем, снова вру! Была, была все же в этих фотографиях неуловимая червоточина, заставлявшая заподозрить обман – возможно, чужие яхта и дом; может быть, не своя, а позаимствованная у голливудского идола, внешность... Не исключаю, впрочем, что во мне говорит моя предвзятость, и никакого такого обмана там не было.

– Если бы ты знал, – сказала тогда Маша серьезно, – как я хочу, чтобы он нашёл ее: эту нежную, покладистую и послушную! Которая не будет качать права, но будет смотреть ему с придыханием в рот и ловить каждое его слово. Таких же полно, черт побери! А ему такая и нужна – и пусть бы уж нашлась поскорее. Найдется, уверена, найдется. Деньги у него есть – судя по тому, что у меня их нет. Так что, думаю, за нежными и покладистыми дело не станет. Вот и пусть! Все-таки я заставила его страдать – а он мне не чужой, и никогда уже чужим не будет. Пусть он найдёт себе нормальную подходящую бабу и будет счастлив. Пристроить бы его – я бы и совсем была спокойна.

И в этом тоже была вся Маша: когда муж вскоре таки нашёл ее, свою новую спутницу, причём, как раз такую: нежную, покладистую и миловидную – Маша радовалась от души, и притворства в этом не было ни на грош.

В этом заключалось и ещё одно серьезное различие между Машей и мной. Я не знал и так и не научился знать полутонов в отношениях с людьми. Для меня существовали лишь друзья или враги – промежуточных категорий предусмотрено не было. Если враг становился другом – я не помнил за ним ни грана зла, из-за чего часто бывал обманут вновь. Если друг становился врагом – я старался вычеркнуть его из жизни и скорее забыть, как если бы его и не существовало – ни в моей жизни, ни вообще.

Не то у Маши. Она не умела забывать плохое, но не могла вычеркнуть из памяти и хорошее. И потому совершенно естественным для неё было жарко негодовать по поводу очередного подлого обмана «мужа номер два» – и в то же время радоваться его удачам в личном плане. Она могла всю костерить несложную, как пробка, подругу за сто первую оскорбительную глупость, сказанную или сделанную в отношении неё же, Маши – и без колебаний бросалась на всяческую помощь ей, как только в том приходила нужда.

Иными словами, Маша умела помнить людей – я же умел только забывать, и, находясь рядом с ней, несостоятельность свою в плане энергетических запасов души ощущал порой очень остро – как ощущаю и сейчас.

Да, все верно, и по зрелом размышлении это очевидно: я не то, чтобы не способен был любить вообще – нет. Однако, по причине душевной скудости, любви моей, как правило, хватало лишь на одного человека, не более, да и то – любовь эта, выходит по всему, была далека от идеала, если сейчас, думая обо всем этом, я лежу под дубовым своим потолком совершенно один.

Но это сейчас, а тогда, разделённые четырьмя тысячами километров, мы были как никогда с Машей близки. Благодаря Скайпу, я переселился в квартиру, где обитала на тот момент она, задолго до своего физического появления там. Задолго до того, как нога моя переступила порог её жилища, я успел изучить все изощренные изгибы испанской планировки и знал её, пожалуй, не хуже самой Маши.

Вместе Машей я варил в кухне кофе, ходил длиннейшим и узким, в три доски, коридором на террасу курить; поливал цветы, а потом любовался морем черепичных крыш, простиравшихся во все стороны света; был невольным свидетелем деловых приездов мужа – Маша намеренно не отключалась, да и у него не было оснований на том настаивать.

Благодаря Скайпу, мы вместе с Машей ложились спать и вместе вставали, более того – мы были вместе даже во время сна. Более того... Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что Скайп давал нам возможность делать все, за исключением одного: прижать другого к себе и услышать его синхронное сердце. Связь, как я говорил уже, работала все время, пока двое из нас двоих находились одновременно в пределах своих квартир.

Благодаря Скайпу, я сделал и то, что считал самым сложным – познакомился с Машинными детьми. Младший еще жил с ней, а старшие по очереди навещались через воскресенье, так что, непривычно побаиваясь, я пережил одно за другим целых три виртуальных знакомства.

Скажу сразу: все мои страхи оказались напрасными: замечательные дети полностью признавали за Машей право выбирать: кого любить, а с кем расстаться, так что и на меня никто никакого зуба, как я опасался, не держал. Дети были милы, современны, велики размерами и чисты душой. Они много и хорошо улыбались и тщетно старались казаться взрослее своих прекрасных около-двадцати. Спасибо тебе, Скайп – немалая глыба скатилась с моих широких сутуловатых плеч после этих знакомств, и я ходить-то даже стал прямее.

В этот предшествующий моему переезду год мы с Машей смогли увидеться вживую всего один раз – по причине жесткой нехватки финансов. Я все, что зарабатывал, пускал на погашение судебных исков по прошлым моим грехам – иначе меня никто никуда из страны бы не выпустил. Машу, помимо того, что терзал мировой кризис, так еще и обманывал с видимым

удовольствием муж. Если ей даже удавалось поймать его за руку и уличить в обмане по самым свежим следам, он ничуть не расстраивался.

– Так кой хер теперь выяснять-то: было, не было, утаил, не утаил? – спрашивал философски он, глядя на Машу глазами доброго друга. – Ну было, было, взял левака, и денег поднял прилично – да только потратил их уже все. Куда, как – сам не пойму, бля... Знаю, знаю, что дело общее и доходы пополам – так и хули толку с этого знания? Кредит на машину, аренда, потом ремонт затеял кое-какой, лодку купил, опять же... Оставлял, конечно, и тебе немного, все собирался завезти, да вот ушли куда-то... Знаешь же, как деньги уходят...

Объясняя, бывал он открыт, добродушен, улыбчив, и лишь на мутном доньшке голубоватых глаз его лежала злая и честная фраза: «Хрен тебе, а не деньги!». Естественный гнев Маши был ему самым что ни на есть бальзамом на душу – и хорошо, что она вовремя поняла это и научилась сдерживать эмоции.

И все-таки что-то мы наскребли, что-то выкроили, и он случился – этот единственный за Год Скайпа раз, самый короткий и самый веселый из всех. Да, невзирая и несмотря – веселый: мы двигались навстречу друг другу, и от финала нас отделяли всего три осенних месяца.

Встретились мы на нейтральной территории, в стольном городе Минске, где сняли квартиру на площади Якуба Коласа, рядом с возлюбленной Машей Комаровкой.

Жутко хромая (внезапно вскрылись старые раны, и связки на левой ноге совсем разбаловались), я прибыл в Минский аэропорт с перекошенной от боли физиономией и букетом красных роз – и полуслепыми от виртуальной жизни глазами выглядывал свою ненаглядную Машу – а она не шла и не шла, и все, кто прилетел, давно получили багаж и вышли, и я уж занервничал, после заволновался, в конце концов почти запаниковал – и при этом не обращал никакого внимания на какую-то пацанку в облипучих джинсах и выдавшей виды бейсболке, которая то выхаживала фигурной лошадкой, то вставала и пялилась на меня слишком уж пристально, да при том еще и подсмеивалась белозубасто... А после пригляделся – Бог мой! О... Э... Это была моя, самая единственная и моя Маша, сбросившая семь килограммов и семнадцать, как минимум, лет. Так вот смотрела – теперь уже просто огромными на исхудавшем и еще похорошевшем лице глазами – и засмеялась, не сдерживаясь, всюю.

Десять месяцев – большой, оказывается, срок. В такси я и не говорил ничего – только жал осторожно да гладил легко тонкую, с синеватыми жилками, ее руку, и молчал, и поцеловывал палец за пальцем... А уж потом... Всякий, кто любил, знает: для влюбленных три дня – не дольше сумасшедшего получаса. И снова мы были голодны – и ежеминутно что-то поедали. Не выбирались из постели – и обхромали (хромал я, Маша приспособилась) половину имперского Минска. Просыпались к полудню – и не спали вовсе. И расставание, впервые у нас, проходило не под медь похоронного марша. Что такое три месяца, если мы уже смогли выждать беспримерно больше?

* * *

А потом остался и вовсе один месяц, и счет побежал на дни.

Скажу прямо, никогда в своей жизни не праздновал я такого беспримерного труса, как в эти тридцать дней. Так уж получилось, за годы предшествующей не-жизни я совершенно –

и совершенно естественно – окостенел душою, отупел и отвык от многих человеческих чувств, в том числе и от страха.

Это объяснимо: чего бояться тому, у кого ничего нет, а значит, и терять ему – нечего? За годы небытия я превратился в абсолютного материально-духовного пролетария, у которого из собственности имелись разве что цепи былых ошибок, не нужные никому, и более всего – самому мне. Теперь же все изменилось, я был баснословно богат обретенной заново жизнью и, как и всякий новый миллионер, панически боялся утратить свалившееся на голову мне сокровище.

Боялся я ежесекундно, всего и по всяким поводам. Впервые я прочувствовал на себе, что означает слово «терзать»: всегда голодной нильской рептилией страх тяжело ворочался внизу моего живота и глодал кровящую плоть, откусывая каждый раз по изрядному куску и причиняя острейшую боль, буквально выедавая меня изнутри – страх был вещественен, осязаем и неизбывен, как старость и смерть.

Я – боялся.

Мучительно боялся покинуть свою родину и страну: ведь за время трезвости, пришедшее с Машей, я начал уже кое-как укрепляться на коре белорусской планеты. Я наработывал клиентуру, репутацию, и дальше, полагаю, все шло бы только по нарастающей – а что ждало меня там, в чужой запиренной стороне? Ни ясности, ни работы, ни денег, которые я должен обязательно зарабатывать – иначе как мы будем выживать?

Неизвестность, неизвестность, неизвестность – от которой я начал уже, за стабильный свой год, отвыкать. Я знал, что в Испании лютует кризис и беспредельничает безработица – Маша не считала возможным скрывать это – и, повторюсь, до дрожи боялся я оторваться от корней и повиснуть в неопределенности.

А если все же мне удавалось кое-как перебраться через первые барьеры страха и заглянуть в возможное будущее – там ждали ужасы еще более серьезные: а ну как не удастся мне вовсе – чего-то добиться там? А ну как не получится совсем ничего, и мы с Машей должны будем побираться на барселонских папертях, под закулисный зловещий смех изверга-мужа?

Страх неудачи, малодушный и жестокий страх неудачи не давал мне покоя недели эдак две. В конце концов, доведенный до тотальной бессонницы, понимая, что так дело не пойдет, я сел за пустой и чистый кухонный стол, выпил большой стакан холодной воды и негромко, неспешно заговорил с собой вслух – как и всякому одинокому человеку, мне к подобным диалогам было не привыкать.

– Вот что же ты, тварь, делаешь? – ласково спросил себя я.

– Боюсь, и у меня есть основания, – тихо и с глубокой убежденностью ответил я себе.

– А вот задай себе простой вопрос, – предложил себе я. – Есть ли хоть малый смысл во всех этих страхах и терзаниях? Основания есть, не спорю – а смысл? Чтобы понять это, ты должен ответить себе на другой вопрос: ты твердо решил уехать? Ты хорошо подумал? Ты все взвесил? Чего тебе хочется больше – уехать или остаться? Определись, раз и навсегда.

– Я определился, твердо, окончательно, раз и навсегда. Я хочу уехать. Там Маша, которая ждет меня. А если там Маша – значит, там все. Я твердо решил уехать, – сказал, еще раз прислушавшись внутрь себя, я.

– А если ты твердо решил уехать, и уедешь, так какой сакральный смысл во всех твоих страхах: «не знаю, что меня ждет, не будет работы, не получится, не смогу...» Тьфу, дрянь! Что за плач Ярославны? Как бы ты ни боялся, ты все равно уедешь. А значит, страх твой не влияет ни на что – и, следовательно, не имеет никакого смысла. И если так – зачем бояться и портить себе этими страхами жизнь? Уж лучше без них, ты так не считаешь?

– Пожалуй, ты прав, – согласился с собой я. – Без них, конечно лучше. Но не так-то все просто. Я бы и рад не бояться – да только не получается.

– Все получается! – возразил я себе. Понять свой страх – значит, победить его. Ты понял – а теперь загляни внутрь себя еще раз: где он, твой страх?

Я заглянул, поискал и с немалым удивлением обнаружил, что страха жействительно нет – разве что тень его маячила в дальнем переулке. Положительный эффект самотерапии был налицо.

Радоваться, однако, пришлось недолго – страх крутнулся двуликим Янусом и коварно явил мне другую свою физиономию: теперь я не менее истово боялся, что меня, со всеми моими прошлыми грехами, не выпустят за пределы страны.

Собирая все эти необходимые для выезда документы: бумаги, бумажищи, бумажули, бумажки, бумажечки и бумажонки, я так и ждал, что вот-вот, на какой-нибудь из стадий нарушится сцепление шестерней, административно-бюрократическая машина вздрогнет всем гремучим телом, скрежетнет и застопорится вглухую, и глаз бумажного командира нальется подозрительной кровью, и застынет рука, занесшая было печать, и печать так и не хлопнет отпустившей меня на свободу дверью...

Однако все получалось, хотя на пределе и грани. Паспорта с проставленными в Минске визами привозили в наш город по четвергам, уезжал я в пятницу – и надо же было стать так, что среди множества привезенных документов не оказалось единственного – разумеется, моего. Мой паспорт попросту затерялся и остался лежать в столице.

Ждать следующего четверга было смерти подобно: уже были куплены билеты, и Маша мчалась на загруженном едой бывалом внедорожнике во Вроцлав, где должна была забрать меня с поезда и повезти, с ночевками в разных странах, за свои Пиренеи, и сняты были отели, и уплачены деньги, которых попросту не хватило бы, чтобы все это повторить... И я уж снова паниковал, и сжимались в бессильной тоске костистые мои кулаки, и ситуация казалась безвыходной...

Но было, было божье крыло, и тут же, сию секунду, не успел я еще и выругаться в непонятно чей адрес, хряснуть по любому столу и пасть окончательно духом – как волшебством и мгновенным чудом обнаружилась спущенная с небес оказия, с которой из Минска и обещали передать мой забытый паспорт следующим утром – и ведь передали!

Так я его я получил: в самый что ни на есть притык, в утро того самого дня, вечером которого поезд должен был везти меня в Брест и дальше – но все-таки получил!

Еще я съездил к матери, чтобы расстроиться – мама пила и вряд ли поняла даже, что я собираюсь поменять страну. Зашел на работу к отцу, который уже, кажется, начал верить в мое исцеление, и, уверовав, относился ко мне предупредительно-нежно. За Машей, кстати, отец сразу признал святую – в один из приездов я их познакомил – и почему-то побаивался ее, уж не знаю из каких соображений.

Мы выкурили с отцом по сигарете, уговорились, что вечером он придет проводить меня на вокзал, где я отдам ему квартирные ключи... Эх, папа, папа – оба мы были не без греха, больше, разумеется, я, чем он, и нормальные отношения у нас с ним так и не сложились. Не успели сложиться. Теперь могли бы – ведь я был иным – но вечером поезд должен был везти меня в Брест, оттуда во Вроцлав, и через две недели, когда истекал срок визы, я возвращаться на родину не собирался.

От отца я отправился на квартиру и всю дорогу волочил за собою тяжелый и длинный, пахнувший серой хвост вины. Станный, странный и скорбный то был день... Истекал целый период моего бытия, за туманной границей ждал новый, и я, мимо воли и неизбежно, как паломник в пути, подводил итоги тридцати с лишним отбытых на земле лет – и итоги эти были неутешительны. Всюду и всегда, за малыми исключениями, я сеял вокруг себя ненависть и страдание, а хорошие дела, сотворенные мною за эти годы, легко уместились бы в горсти одной руки. Грустно, грустно – и я грустил почти с упоением.

Дома я заварил чай, посидел немного, разглядывая две двухпудовых гири на верблюжьем коврике у стены – знак моего возвращения к здоровой жизни – и позвонил Маше: единственный светлый, в две минуты длиною, проблеск на скорбном небосводе дня. Маша была весела и уже во Вроцлаве. Задумка эта: не просто принять меня, но провести на авто через всю Европу – целиком и полностью принадлежала ей. Уже тогда, со щедростью вселенской богини Маша начинала дарить мне страны и города. Она долго подсчитывала, прикидывала, взвешивала за и против и, наконец, решила, что мы можем это себе позволить.

О Маша, Маша... Все свои нынешние воспоминания под дубовым потолком я затеял с одной целью: разобраться, почему не люблю тебя больше – но ничего, ничегошеньки из этого пока не выходит: может быть, потому, что хотя бы чему-то я в жизни научился, в частности – не врать самому себе... И все-таки – мы не вместе. И почему так произошло – я разберусь обязательно. Для того и затеял нелегкие эти воспоминания. Во всем я люблю ясность – ясность, дающую покой. Но пойдем дальше.

...Позвонив Маше, я еще побродил пустоватым жилищем, еще раз вывалил из сумки на кровать и проверил необильные пожитки, из каких половину составляли десять экземпляров той смой, с глазом на обложке, книги, после сложил все обратно – и ощутил внезапным испугом, что до отъезда остается пять часов, и почему-то снова не верилось мне, что все пройдет гладко.

«Почему-то»... – да потому, что знал, знал я уже и убеждался не раз: зло, отпущенное тобою на волю, слишком тяжело, чтобы воспарить и затеряться в чужом пространстве, но, повинувшись непреложному закону тяготения, рано или поздно падет на твою же неумную голову

обратно. Этот закон есть, он работает, путями порой изощренными и непрямыми, неявными и непонятными – но только на первый взгляд.

И потому, когда в дверь мою позвонили – я не удивился. Я знал, что звонок этот не несет в себе хорошего: может быть, вскрылись какие-то прошлые мои грязноватые дела, ускользнувшие ранее от внимания правоохранительных органов, и теперь лучезарный дознаватель топчется в охотничьем азарте у двери, чтобы допросить меня, прямо здесь и сейчас, допросить и взять подписку о невыезде... Или хуже: забрать меня с собой и посадить в клетку – по закону он может сделать это и продержат меня там семьдесят два часа. Или еще непоправимее: уже получен у прокурора ордер на мой арест, и сейчас я и вовсе, в сопровождении оперативников, поеду отсюда в тюрьму... «На тюрьму» – так принято говорить в тех кругах, о которых я начал уж было забывать – но, похоже, рановато.

Лихорадочно прокручивал я в голове все былые, до Маши, прегрешения, за которые еще не ответил перед законом, и по всему выходило, что каждый из трех неприемлемых для меня сейчас вариантов возможен. Не буду, не буду и не стану открывать, думал я – только уйдите, не лишайте меня встречи с самым дорогим мне человеком, ночью я исчезну и никогда не потревожу вас больше – но звонок не унимался, раздражительным своим дребезжанием заводя помаленьку и меня.

Какого черта? Что еще надо этим уродам? Я год выплачивал все долги по судам, я выплатил все эти ущербы и штрафы; да, я причинял боль, я творил зло, но, как бы ни было, никого в этой жизни не изнасиловал и не убил; я не обворовывал церкви или детские дома, не продавал стратегические секреты родины и не брал взятки в размере бюджета африканской страны... – какого черта вам нужно от маленького, заплутавшего когда-то, но давно уже нового меня?!

По возможности тихо, на тяжелых цыпочках (за год трезвости весу во мне сделалось на двадцать два кило больше), я вышел в коридор и стал у двери. Какое-то время с обратной стороны топтались и молчали, после затрзвонили снова, и более того: принялись лупить в гулкое дерево ботинками и кулаками одновременно, да еще и орать разухабисто на два подъезда. Терпение мое вышло, да и едва ли, судя по звукам, это были представители власти – я схлопнул губы в тонкую полосу и отворил.

На пороге сиял золотым зубом Пушкин. Мы познакомились и сошлись с ним в тюрьме. Там нельзя и невозможно быть одному, вот мы и держали на пару с ним совместное хозяйство и имущество, состоявшее из того, что попадало к нам в передачах родственников. Прозвище свое: «Пушкин», не лишнее тонкого арестантского юмора, он получил за абсолютное отсутствие растительности на тяжелой лобастой голове. К тому же, звали его Александром – Сергеевичем. Пушкин был такой же жестокой заблудшей овцой, как и я, и в тюрьму точно так же попадал по пьяни и глупости – поэтому, должно быть, мы и сблизились с ним в свое время. Но тогда, наблюдая на пороге его массивную лысину, я знал, что все не ко времени, и приход его вряд ли кончится добром. Он уже был изрядно пьян, оживлен, беспшашен и рад встрече со мной.

– Вот, братуха, я и откинулся, – сказал он. – Ты что тут затихарился? Оперов, что ли, ждешь? Я думал уже, что никого дома нет – и ушел почти!

Мы обнялись, обхлопали спины, обменялись рукопожатием, и, ругая себя жестоко за отсутствие выдержки – ну что стоило мне еще минут пять подождать, пока он уйдет? – я провел Пушкина в квартиру, зная, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Так и случилось.

Когда я отказался пить с ним, он ошарашенно выпрямился на стуле всем своим длинным костистым телом и уставился на меня в упор. В глазах его заструился сизоватый дымок близкого бешенства, которое, знал я, вот-вот прорвется наружу. Этой взрывной неподконтрольной яростью он и зарабатывал себе каждый раз срок. Он был неплохой и даже хороший парень, этот Пушкин, иначе мы бы не сошлись с ним – но я знал, что не смогу ему ничего объяснить.

– Так, значит, – сказал он медленно. – Значит, так. Чалились с тобой, семейничали, баланду вместе хлебали, разговоры вели... Ты мне, когда раньше вышел, передачи на тюрьму засылал, помню – харрошие передачи... Забыл, что ли? Я вот не забыл... Я же тебя братаном своим считал, Серый. Только вчера с кичи, не успел еще с жены слезть – и сразу к тебе. Давно, думаю, не видать, не слышать – посмотрю, чем брат мой дышит. Посидим, за жизнь побеседуем, как бывало – а тут вон оно что... Тут старые связи, вижу, больше не канают, и знать меня, смотрю, не хочет никто... Не-е-ет... Так нормальные пацаны не поступают...

По задумчиво-неспешной речи его я видел, что Пушкин еще скользит, опускаясь в бездну нанесенного мной оскорбления, но вот-вот достигнет твердого дна: той самой точки понимания, с которой ему останется только атаковать.

Не мог я ему ничего втолковать, да, думаю, и смысла в том не было: он уже услышал все, что хотел, услышал и понял все, что ему было нужно – и теперь туго и верно выходил на линию атаки, которая для него заканчивалась обычно тюрьмой, а для оппонента – это как повезет.

– Значит, не будешь со мной пить за волю мою? – спросил он еще раз, подытоживая.

– Не могу Саша, и не буду. Рад, что ты вышел, но пить не буду. Не могу. Ты прости, это мое последнее слово, – отвечал я, и понеслось.

Какое-то время я наблюдал пару бешеных и бешено скачущих его глах на уровне своих. Несколько раз он пытался ударить меня и даже попал, довольно чувствительно – парень он был жилистый и здоровый.

Когда дерешься, смотреть нужно в глаза, а бить в подбородок, и хорошо, когда кулак знает, где он, этот подбородок, находится. Мои кулаки еще помнили, как находить нужную точку: «опыт не пропьешь» – так говаривал в армии старшина Гриценя. Кулаки мои умели искать: раз, еще раз, еще и еще – глаза Саши Пушкина провалились и упали синхронно на пол, а я рванул за ними. Какое-то время мы повозились на бледно-зеленом ковре: Пушкин был вцепист и силен, я же, набрав вес, сделался неповоротлив. В конце концов мне удалось мертво припечатать его руки к коврику и держать так.

– Скажи, что не будешь больше дергаться, и я сразу тебя отпущу, – тяжело дыша, попросил я его.

– Угу. Не буду. Больше. Дергаться, – рот его был полон тягучей алой слюной, мешавшей говорить: похоже, я попал раз-другой выше, чем следовало, и разбил ему губы. Впрочем, и моя скула набухла все более.

– Точно не будешь?

– Точно. Дергаться точно не буду, – подтвердил он, и я отпустил его, поднялся и, чуть задыхаясь, пошел к окну: за свежим холодным воздухом.

– Дергаться точно не буду, – еще раз сказал за спиной Пушкин. Он вскочил и был уже на ногах. – Ты постой там.

Он ушел из комнаты и загремел отчаянно металлом в кухонных ящиках.

– Дергаться точно не буду, – повторил еще раз он, вернувшись. – И ты не будешь. Потому что я тебя, сука, сейчас прирежу.

Я обернулся. В каждой руке у Пушкина было по ножу: в правой – злой и тяжелый охотничий, в левой – длинный и широкий мясницкий. Вот он и зашел на свою линию атаки, Саша Пушкин – атаки, которая для него закончится новым сроком, а для оппонента, то бишь, меня – как повезет.

Я особых иллюзий насчет везения своего не питал, и вообще: сделался совершенно пасмурен и спокоен. В очередной раз я устал бояться. Потому, может быть, что меня уже не однажды резали, и я хорошо помнил, как выглядит клинок в руке человека, который тебе – враг. Более того – я помнил даже, как выглядят его глаза, и знал, что они у всех одинаковы.

Что ж, если так – значит, так. Я уже заслужил все, что со мной еще не случилось. Я оплатил эти услуги заранее. Что будет – то и будет. А Маша ждет меня где-то во Вроцлаве – вот что нехорошо.

– Ну и режь, – сказал Пушкину я. – Режь, блять. И еще – сам ты сука! – и стал смотреть в бешеные, в совершенно теперь слепые и сизые его глаза. Смотрел и ждал, что будет – долго, долго – половину минуты, может быть, или даже всю минуту целиком – смотрел, молчал и ждал.

А потом упало на пол два раза: скучно и тяжело (охотничий нож, определил я) и красиво, с долгим стальным подзвоном (это мясницкий), Пушкин повернулся и пошел ко входной двери. Он ничего не говорил больше. Хлопнуло, отдалось дрожанием в стеклах – и я остался один.

– Вот и все, – сказал я себе. На душе было паршиво и жарко, как если бы я обидел ребенка или старика. И еще – тряслись сильно руки.

– Вот и все, – повторил я. – Пора на вокзал.

* * *

Это может показаться странным, парадоксальным даже, но когда все, к чему мы шли так долго – через обман, угрызения совести, украденное счастье, короткие встречи, мучительные, на отрыв живого мяса, разлуки, ожидание без конца, нервы, нервы, нервы, сомнения и страхи по всем и всяким поводам – когда все, что казалось невозможным, все-таки случилось и с Машей соединились – тогда-то и наступил самый критический момент в наших отношениях.

И все, черт бы взял меня, я. Не буду скрывать: переезжая к ней, туда, куда я переезжать не хотел, я таки ощущал, что иду на определенную жертву, и сознание жертвы этой добавляло мне веса в собственных глазах: как же, вошёл в положение любимой, бросил все, привычное и родное, и ухнул в неизвестность. Поступок? Поступок! Да практически подвиг! К тому же, и Маша не раз и не два мне давала понять, что эту мою «жертву» ценит безмерно.

Тогда, в силу душевной незрелости, мне было невдомек, что переезд мой – это вовсе не свершение, но лишь мизерная часть его, крохотное, в один робкий шаг, начало неизвестного пути, лишь пройдя который, можно будет говорить о каких-то там «поступках». Переехать – один миг, а вот закрепиться и найти своё место в чужой и враждебной реальности, и не сломаться, и не сорваться, и не спустить всех псов своего ущемлённого «я» на единственного, кто был со мной рядом: Машу – задача кропотливая, долгая и действительно трудная.

Конечно, я предпочёл бы, чтобы все случилось именно так, как я себе представлял вначале: вот он, я – жертвенный и великодушный пришелец: нырнул, помявшись, с трамплина своей родины в воды нового мира и, едва всплыл на поверхность, на тебе все и сразу: вспышки фотокамер, микрофоны жаждущих взять интервью репортеров, автографы, автографы, автографы, раздаваемые моей мокрой и мужественной рукой; цветы и гирлянды, и венок из пахучего лавра; и Дом Периньон фонтанами из массивных бутылей; и визг ошалевших фанатов, норовящих докоснуться меня, как главной святыни; и первое, разумеется, место на пьедестале всех пьедесталов, и, естественно вытекающим бонусом – призовой фонд и даруемое им пожизненное освобождение от всех насущных проблем...

Выяснилось, что все не совсем так. Выяснилось, что все совсем не так.

Я вынырнул посреди пустынной воды – повсюду, во все края горизонта. До того, надо сказать, я привык существовать на земле – как и всякое человекоподобное. Теперь меня ожидало выживание во враждебной стихии – к чему я оказался совершенно не готов. Рядом со мной держался на поверхности и пытался поддерживать меня один человек – Маша, по милости которой, как я тогда это себе представлял, я и угодил в водяную западню. Всю вину, как свойственно людям слабым, я быстро возложил на нее и принялся гнобить ее за это безжалостно и изощренно. Таким отвратительным образом, как кажется мне сейчас, я просто взимал с Маши плату за свою сомнительную, честно сказать, жертву.

...Память, память... Не любит память возвращаться в неприятные моменты: жметесь робко у кромки берега и в воду ступать не спешит: мало ли какие опасности скрывает черная гладь воды? Память, боязливая память... Я толкаю ее в дрожащую спину: иди, иди, глупая, не бойся, они уже случились, уже есть и уже с тобой – все прошлые неприятности и кошмары...

О чем думал я вообще, кем и чем ощущал себя в мучительные первые недели и месяцы в новой стране? Каков он, я, в то непредсказанное время?

Во-первых, беспомощен. Вот, пожалуй, верное слово. Совершенно и упоительно беспомощен. Я был нелегалом, въехавшим в страну по туристической визе – и в две недели ее просрочившим. Все льготные условия легализации как раз с моим приездом окончательно упразднили. Пожениться, чтобы узаконить мое пребывание здесь, мы с Машей тоже не могли, потому что муж не спешил давать ей развод.

Нелегалов же на работу не брали уже давно – и по причине огромных штрафов, грозивших работодателям, и, что гораздо первичнее и важнее – из-за глобального отсутствия самих работ. Не было их, даже тяжелых и малооплачиваемых – ни для своих, ни для чужих. А ведь за трезвый год, проведенный мною дома до появления здесь, я привык работать и зарабатывать – и даже довольно неплохо, по меркам своей уникальной родины.

А тут на тебе – оказался в чужой стране, без языка, статуса, работы, денег и каких-бы то ни было ясных перспектив – и все потому, что Маша, видите ли, не пожелала жить там, где все это у меня было – или могло быть! Трудился бы себе, зарабатывал и обеспечивал нам существование... Но нет – ей непременно нужно было, чтобы я приехал сюда, в охваченную кризисом страну, сидел иждивенцем и страдал невротами – а все потому, что Маша...

Да, да, всюду была Маша – исток и причина всей моей тогдашней неуместности, страдая от приступов которой, я начисто упустил из вида остальное, с нею связанное – то есть, все. Мне стыдно, безнадежно стыдно и сейчас – до дрожи в коленях, до белого жара в кончиках предательских ушей – когда вспоминаю, с какой сладкой ненавистью изводил я Машу попреками в своей неприкаянности и пустоте.

И надо знать Машу, чтобы понять, как больно ранило ее каждое мое слово, ведь формально, черт побери, так и было: я перебрался к ней только потому, что она не смогла или не захотела перебраться ко мне. На основании этой формальной истины, которая была ничем иным, как так любимой ее вторым мужем «почти правдой», я чувствовал за собою полное право тиранить Машу во всю свою подлую мощь.

Да, да, и это верно – в то время я был не только беспомощен, но ещё и безмерно и намеренно жесток. Справедливости ради должен добавить, что иногда жестокость моя была и неосознанной, как жестокость обычного зверя.

Помню, например, с какой гордостью ещё в скайп-время Маша демонстрировала мне нашу с ней спальню, устройством которой она занималась с превеликим удовольствием. Все, напоминавшее ей о прежних оковах супружества, было снесено на помойку. Она уточняла мои размеры, ездила покупать кровать, звонила мне и советовалась перед покупкой... Она раздобыла где-то изысканной красоты и грубой стоимости бра, которые тоже непременно требовали обсуждения со мной и моего одобрения. Она отыскала в антикварной лавке удивительное круглое зеркало с оправой в виде бронзового, раскидавшего широко и смело лучи, солнышка, и хвалилась, что сторговала это чудо за смехотворную цену... И покрывало, и белье, и подушки, и дизайнерские изыски, на которые изобретательная Маша была мастерицей, на заново выкрашенных ею же стенах... С упоением и чувством предстоящего счастья Маша вила новое гнездо, и звала меня в это гнездо, и ждала меня в это гнездо – а что, черт побери меня, я?

Я провёл с ней в этом гнезде ровно две недели – и перебрался спать в кабинет. Да, во сне я на самом деле вёл себя агрессивно, к тому же, храпел и обладал воной привычкой по несколько разбив ночь просыпаться за ночь и уходить курить; да, порой мне нужно было проснуться

и сесть записывать казавшиеся мне стоящими мысли – этими причинами, которые тоже были мерзкой «почти-правдой» я и объяснил Маше свой уход. На деле, как видится мне сейчас, я с блестящим отсутствием логики, вряд ли сам это осознавая, отстаивал своё священное право на одиночество – и даже в малой степени не понимал, какой обидой и болью отзовется в Маше мой уход. Разумеется, она снесла это молча и старалась не подавать вида, что уязвлена в самую душу, а я тогда предпочитал быть слепым там, где мне это удобно.

Страдая, я все глубже уходил в себя, и если выбирался оттуда – то, главным образом, для того, чтобы заставить страдать и её. Как и всякий родившийся без кожи человек, Маша, при всей своей силе, была абсолютно беззащитна перед настоящей подлостью. А как ещё можно назвать истязание со стороны ближайшего человека – меня? Только подлостью, и никак иначе. Я и был подлецом – пусть признавать такое неприятно и сейчас.

Как только я понял, как глубоко ранят её мои нападки, я будто намеренно задался целью загнать её в гроб, занимаясь выяснением отношений часами. Я легко, в горячке перепалки, честил её распоследними словами, зная, что каждое из них побивает её смертным камнем.

Излившись матерной желчью, я сбавлял градус и продолжал истязание в режиме липкой непрерывности. Скрыться от настырного и занудно-агрессивного меня было невозможно. Поначалу Маша просто запиралась в той самой спальне, которую я навсегда осквернил своим бегством, и плакала. После она стала уходить из дому, надеясь, что в отсутствие ее я остыну быстрее. Часто так и бывало.

Успокоившись, я звонил ей, набирал до тех пор, пока она не брала трубку – и, после долгих пререканий, мы заключали новый мир протяженностью в два-три, много, четыре дня, по прошествии которых все повторялось.

С упорством inferнального стахановца я все более заглублялся в кровавую рану и, похоже, добурился до отметки, на которой попытка сделалась для Маши непереносимой. Как-то, во время очередной ссоры она просто выкатила на свет божий большой чёрной чемодан и предложила мне убраться. Убраться в ту самую страну, из которой я приехал, или любую другую страну, или куда угодно, да хоть на Луну – но убраться подальше и навсегда, чтобы дать тем самым ей, Маше, возможность протянуть на этом свете хотя бы еще несколько лет.

Первым делом я опешил: как круторогий баран, разогнавшийся в очередной раз, чтобы долбануть в ненавистную стену – и встретивший вместо неё пустоту. Вторым – испытал внезапное облегчение: ведь даже бараны, случается, устают долбить. К тому же, Маша предлагала мне то, о чем я и сам подумывал втихую все чаще.

Ну, не складывалось у нас здесь, не получалось ни черта, ничегошеньки не получалось, и все шло не так, и я ожидал совсем не того, а Маша, разумеется, и подавно! Казалось, все недавние любовные страсти происходили не с нами, но с чужими и совершенно незнакомыми нам людьми. Так зачем мучаться и мучить друг друга? Надо уезжать – и дело с концом! Тем более, что и Маша, очевидно, пришла к тому же выводу. Вот и славно, вот и решение. И я, определившись, принялся укладывать чемодан, а Маша, помню, помогала мне даже.

А потом, еще поостыв, я порассуждал немного в одиночестве.

Вспомнил, что из-за меня она порушила всю свою прежнюю жизнь. Прошла через месяцы ненавидимой ею лжи. Заслужила репутацию гулящей жены у большей части разномастного круга осевших в Барселоне родственников-знакомых-друзей. Тех самых, которых она же когда-то и помогала устроиться в заграничной жизни, пуская пожить у себя, пока они не встанут на ноги и не обзаведутся собственным углом – невзирая на ворчание и протесты недовольного перманентным присутствием посторонних мужа. Да, да, так и есть: большая часть разномастного круга прошла когда-то вереницей, один за другим, через гостеприимный портал ее квартиры, ставший для них первой человеческой улыбкой в холодном мире капитализма.

Эти люди были обязаны ей многим, но не спешили возвращать долги, хотя бы и простой человеческой благодарностью – а иного Маша и не требовала. Собственно, она не требовала и благодарности, по горькому жизненному опыту зная, что зверь это редкий и вымирающий. И поступала она так только потому, что не могла поступать иначе – в кодексе ее поведения иных вариантов прописано не было. Машиной добротой пользовались, как ступенью ракеты, отбрасывая ее потом за ненадобностью и начисто забывая.

Но когда Маша осуществила его, свой личный бунт – о ней вспомнили вдруг разом все – и так же разом обсудили, осудили и предали вечной анафеме. Из всей неблагодарной шайки «родственников» отыскалось едва ли человек пять-шесть, преимущественно, молодого поколения, восхитившихся ее смелостью и вставших решительно на ее сторону – остальные вознегодовали и мигом отворотили от нее свои пуритански-постные лица.

Забавно, что «муж номер два», не сделавший для «родственников» и тысячной доли того, что сделала Маша, напротив, в глазах их тут же обратился в мученика. Да, статус царя был утрачен им безвозвратно, но вскоре он убедился, что «мученик» – звание гораздо более приятное.

Мужа разнообразно и обильно жалели: дружно и наперебой, по одиночке и группами, эмоционально – по-женски, и сурово-сдержанно – по-мужски... Был период, когда он, подсевший на всеобщую эту жалость, как на наркотик, ходил по гостям, словно на работу, и упивался ею без меры и конца. Его жалели, его любили, ему выказывали все мыслимые проявления сочувствия...

Особенно он любил, когда жалеющие при этом втапывали Машу в грязь – и ведь втапывали: и по своей воле, и чтобы сделать ему приятное. Ей припоминали все: и прямоту, ее, и резкость, и умение врезать порой правду-матку невзирая на лица и обстоятельства – то есть, грехи для приличного общества наипростейшие. Не забывали и главный грех – измену, а поскольку ранее за Машей никогда такого даже в мизерной степени не водилось, все соглашались с версией мужа: Маша буйно спятила с ума и согрешила с дьяволом, проявив при том самую черную неблагодарность. Сатана, сатана овладел ею! Будь то век семнадцатый, муж легко добился бы сожжения Маши на костре и сам с удовольствием провел бы экзекуцию.

А пока он, возлегая на диванах – в каждом гостях его сразу и непременно укладывали на диван, опасаясь, что в середине своего плача он может не выдержать и пасть от переживаемого заново горя в глубокий обморок – принимал соболезнования, и в апогее этих жабких утешений, напитанный ими, как вампир свежей кровью, из мученика возрастал до пророка и глахом грозным, вызывающим ледяную дрожь в позвоночнике, вещал: еще месяц, пусть два, и этот уголовник либо убьет ее, либо искалечит, либо просто натешится и выбросит, как ненужную

ветошь – но в любом случае, скоро, скоро, попомните моё слово, грядет ее личный апокалипсис, и страдания ее будут ужасны, и страданиям её не будет конца!

Похоже, было, действительно было в этих его пророчествах что-то, внушающее священный ужас. Одно время они были чрезвычайно популярны – настолько, что «родственнички» выстраивались в очередь, стараясь заполучить мужа себе на вечер, а те, к кому он еще не пришел, даже чувствовали себя обделенными и обиженными. И если бы он не свернул вскоре с пути истинного, пустившись в многократные эксперименты с «нежными и покладистыми», если бы он не начал менять своих новых и молодых спутниц жизни, как перчатки, скатившись в неприкрытый разврат с явным душком мстительного садизма, после чего с мученическим ореолом было покончено – он мог бы, пожалуй, сделать карьеру на поле сектантства. Да Бог с ним, с мужем – с Машей-то в любом случае ситуация была ясна: исчадие, изменница, изгой.

И пусть, заявляет Маша, ей на это плевать – я же вижу, что все не так: это ведь и ее «родственнички», это и ее разномастный круг, каким он ни был. А людей Маша, как я говорил уже, забывать не умела. Потеря? Потеря! И к потере этой напрямую причастен был я. А теперь мне оставалось только уехать, исполнив пророчество «номера второго» – и доставить ему, тем самым, глубокое моральное удовлетворение.

Но главное, главное, о чем я должен был помнить всегда, но чаще предпочитал забывать: я жив только из-за неё, Маши. Я ей кое-чем обязан. Всем, если начистоту. Она, черт бы меня взял, разглядела в погибающем мне что-то такое, чего не видел никто, включая меня самого; что-то такое, ради чего отказалась от всего, кроме детей. Потому что она такая – Маша. Святая – иначе не скажешь. Местами грубая, временами резкая, часто упорствующая в своей неправоте – но святая. И то, что она сама предлагает мне сейчас уезжать, понял вдруг я – очередное проявление ее непостижимой для меня святости. Она же видит, как лезу я на стену, психую и томлюсь в чужой стороне – и просто отпускает меня на волю. Дает мне все карты в руки. Потому что знает: если я приму решение уехать сам, то нет-нет да и буду угрызаем потом ночными укорами совести – или того, что у меня имеется под этим ярлыком.

А так – все «благородно». Это не я сбежал и бросил её – это она предложила мне уехать. Можно даже сказать, выгнала меня. «Она сама!» – как выразился когда-то мой предшественник. Даже сейчас, теряя меня, она думает обо мне. И я, разумеется, могу принять ее игру. Могу оскорбиться, зацепиться своей мужской гордостью за это ее «убирайся, словно ребром за крюк, взвыть от праведной боли – и уехать. Уехать и даже считать себя «благородным человеком», и это будет «почти правдой», о которой мне кое-что уже известно. Известно достаточно, чтобы понимать – никакой «почти-правды» нет и быть не может.

Есть правда, и есть ложь. И правда заключается в том, что если я уеду сейчас, то просто-напросто сдамся, поступлю как самый распоследний трус. И брошу Машу у расколоченного в злые щепы корыта – расколоченного не без моего горячего участия. И буду никем иным, как той самой «сухой», какой окрестил меня Пушкин в последний мой день на родине. Сказать тебе могут все, что угодно. И позволить – все, что заблагорассудится. Но истинная мера всех вещей – внутри тебя, а никак не снаружи. И куда бы ты не уехал, она всегда пребудет с тобой. Можешь схорониться хоть за Полярным Кругом – тебе от нее не сбежать. Это-то я способен понять.

Может быть, способность кое-что понимать и разглядела во мне Маша когда-то? Способность понимать, например, что слово «уезжай» может означать «останься»? Не знаю, не знаю...

Но что-то же, она, в конце концов, разглядела, единственная из всех?! Разглядела и бросила ради меня все. А теперь вот предлагает мне свободу. Но если я предложением этим воспользуюсь – это трудноуловимое «что-то» перестанет во мне существовать – враз. И хочу я этого или нет – решать только мне. Я и решил – в тот самый момент, когда последовательная Маша почти заказала уже – билеты на самолет.

Решил еще и потому, что провел мгновенный и действенный тест: попытался на миг представить эту картинку: я без Маши, Маша без меня – попытался и не смог. Картинка не складывалась – совсем. Реальность, в которой Маша и я существовали порознь, была невозможна – даже умозрительно. Убедившись в этой невозможности, я бросился восстанавливать мир.

Мы тогда всю ночь говорили, закусывая кофе сигаретами, и я многое обещал ей, и – пусть не все и не сразу – старался в дальнейшем, по мере скудных сил своих, выполнять. Во всяком случае, я ни разу не назвал ее с той поры дурным словом. И длиннейшие, занудно-саdistские словесные истязания, в которых мне непременно нужно было поставить на своем, и которые обескровливали ее хуже всего прочего – тоже старался урезать все более. Да и Маша, умевшая в пылу ссоры наговорить самого лишнего и знавшая замечательно, чем меня уесть больше всего, тоже обещала поубавить пыл – мы медленно, ощупью и в темноте, учились жить вдвоем, и у нас, кажется, начинало помаленьку получаться.

Что до общего положения дел в первые мои испанские месяцы – оно тоже не радовало.

Вскоре после того, как Маша, живущая по привычной для нее программе обуреваемой страстями святой, вывезла меня в Барселону, ад не замедлил последовать за мной: во всяком случае, в экономической своей ипостаси.

Кризис, который до того лишь повертывал Испанию тяжелой когтистой лапой с боку на бок да покусывал легонько, не до смерти – взъярился коротким мигом, вогнал клыки на смертельную глубину и принялся методично душить. Небольшая строительная фирма, которой на паях с мужем владела Маша, и которая ещё задолго до моего появления здесь демонстрировала симптомы серьёзной болезни, задышала, как и тысячи других, прямо ла ладан: судорожно, хрипло и неглубоко. Очевидно было, что через полгода, много, год она погибнет окончательно, в наследство оставив большие долги и длительные судебные тяжбы – как оно впоследствии и случилось.

Муж, как и прежде, неуклонно воплощая в жизнь свою программу анти-Машиных экономических санкций, продолжал с удовольствием мстить, обманывая ее напропалую даже относительно тех шатких доходов, что еще были.

Львиную долю «молока» (так на жаргоне в Испании зовутся деньги), которое пока давала эта корова, он потреблял сам, а остатками, в виде милостыни, одаривал Машу – это, кстати, позволяло ему считать себя тем самым «багородным человеком» – выражение, навсегда с тех пор звучащее для меня оскорблением. Истинный размах его перманентного обмана мы узнали много позже – когда это никого удивить уже не могло.

Убедившись, что Маша к нему не вернется, он возненавидел ее так, что на фоне этом моя глубокая инстинктивная неприязнь к нему казалась любовью.

Помню, в один из его приездов... Да, было время, он частенько приезжал к нам: привезти, или, напротив, забрать кое-какой сварщицкий инвентарь, и мне, хотел я того или нет (не хотел) приходилось видеться с ним.

И каждый раз, помню, со мной происходило одно и то же: я не мог выбросить из головы мысль, что отобрал у этого человека жену, и потому старался быть предельно вежливым с ним. Кроме того, и это я тоже помню очень хорошо, муж все же обладал определенным гипнотизмом, заставляя меня, во всяком случае во время беседы, испытывать к нему едва ли не дружеские чувства – наваждение, которое рассеивалось лишь через полчаса после его отъезда, не ранее.

Муж приезжал, вставал на аварийку, делал звонок – и мы с Машей стаскивали неудобный металлический ящик узкой лестницей вниз. Муж приветливо здоровался с нами обоими, ободряюще заглядывал в глаза мне, и руку жал так же ободряюще: дескать, не дрейфь, брат, все рано или поздно наладится.

И одет он был неброско и хорошо, и пахло от него дорогим одеколоном, да и вообще, надо признать, он был обаятелен – с легкой, ухоженной каштановой гривой и усами «а ля Чак Норрис», из-под каких он то и дело охотно высверкивал улыбками, а то и теплым горловым смехом. Впрочем и смех, и улыбки его несли в себе тактичную нотку печали: он всегда, так уж повелось, привозил нам дурные вести. Улыбался и привозил дурные вести. Других и не могло быть – все хорошие он аккуратно откладывал в сторону и оставлял себе.

Тогда мы об этом не знали, и все принимали за чистую монету, и были даже благодарны ему за его обходительность и такт, и беседовали с ним едва ли не с удовольствием: скажем, как симпатичные друг другу родственники, собравшиеся на похороны прабабушки – по поводу печальному, но неизбежному и не отменяющему тихую радость от встречи. К концу беседы, как я говорил уже, муж становился мне почти другом – а после мы прощались с ним и шли, еще неся на лицах мягкий отсвет недавней беседы, к подъезду.

Так вот, в один из его приездов, когда мы так вот расстались, оставив его позади, и подошли уж к подъездной двери, я, ощутив проскочивший рядом злой холодок, ведомый внезапный наитием, обернулся и увидел его: он стоял, сунув руки в карманы и расставив широко ноги, у своего большого, блестящего, черного грузового джипа (купленного в кредит, который он так никогда и не выплатил до конца) – стоял неподвижно и тяжелым, злобным, упрямым, как таран, взглядом толкал Машу в спину, как будто надеялся, что вот-вот она упадет.

Странное двойное выражение примерзло к лицу его – выражение застарелой ненависти и крайнего, в тоже время, презрения. Ненависть, вероятно, предназначалась Маше, а презрение – мне. Заметив взгляд мой, он спохватился, и тут же побежали из-под усов белоногие улыбки, и он замахал мне прощально дружественной рукою, словно добрый и мудрый папа, но миг уже был уловлен: как будто правда со смертной гримасой проглянула из-за угла – и тут же утаилась обратно.

* * *

Да, вот так оно было тогда, в мои первые месяцы: кризис терзал, нищета нависала, муж мстил, я страдал, вовлекая в страдания Машу – и, казалось, не будет всему этому ни конца, ни исхода.

Каждая из наших с Машей стычек ранила обоих и воспринималась, как маленькая смерть – потому, должно быть, помирившись, мы садились на метро и ужали реанимироваться в центр, где шумный ход большой и веселой жизни ощущался особенно остро.

Как раз в одну из таких «реанимаций» Бог и взял нас, неприкаянных, под свое золотое крыло.

Помню, был теплый, как август, апрель.

Мы с Машей, подставив озадаченные и все равно довольные физиономии барселонскому солнцу, сидели в кафе на площади Каталонии – это мы пока могли себе позволить – радовались новому миру после трехдневной ссоры, гадали, где бы раздобыть источник дохода и наблюдали кипевшую рядом жизнь.

Воздух округ нас благоухал весной, марихуаной и провокацией.

Суровые цыганки, зажав белый пластик стаканов для подаяния в черных мужских руках, прямыми линкорскими курсами утюжили площадь из конца в конец, и, натываясь на интуристов, не просили, а убедительно требовали от них немедленных инвестиций в румынскую экономику.

На остановке, в ожидании двухэтажного туравтобуса, выстроилась яркая и кривая, напоминавшая крикливый знак вопроса, очередь. Мордатые голуби, закормленные до полусмерти гостями каталонской столицы, лениво клевали из рук, и, окончательно пресытившись, развязной походкой пьяных моряков уходили прочь – убредали на своих двоих, даже не думая куда-то лететь.

На тротуаре, у двери Хард Рок Кафе, сидел польский блондин с мужественным лицом и сложением атлета, похожий, как брат-близнец, на юного Дольфа Лундгрена.

Поляк был опрятен, чисто выбрит и удручен. Над тяжелым, с ямочкой, подбородком его то и дело зажигался голливудский фонарик безупречных зубов – он растерянно и хорошо улыбался. Голубые глаза взирали на мир с искренней детской обидой.

Рядом с ним устроен был картонный плакат, на котором большими и понятными буквами, на русском, польском и английском языках, начертана была короткая, сдержанная история его катастрофы: приехал три дня назад в Барселону, был варварски обворован вечером первого же дня, и лишился не только денег, но и документов – между тем, обстоятельства (умирающая мать) настоятельно требуют его возвращения в Польшу. Будет рад любой посильной и скорой помощи. Всё.

Поляк шел на ура. Пожилые интурстки, одетые всегда дорого и не всегда вкусно, сочувствующе кивали ухоженными головами – и помогали. В аккуратную коробку для помощи изливался золотой дождь. Когда она окончательно наполнялась, из-за угла выходил непрезентабельный, с бегающими глазами человек кавказского вида, пересыпал добычу в пластиковый пакет и исчезал за тем же углом.

Я жил здесь уже три месяца и каждый раз, бывая на площади Каталонии, наблюдал поляка на привычном месте. По словам Маши, он сидел здесь уже пять, как минимум, лет – и за эти годы даже успел слегка постареть.

Помню, как Маша, еще на заре моего пребывания здесь, как-то поразила меня. Присев на корточках рядом с поляком, она принялась утешать его, попутно пришептывая што-то сквозь зубы, и, слушая ответный лживый лепет, велела мне выдать на польское спасение целых пять евро.

Потрясенный и ничего не понимающий, я повиновался. Такая расточительность, откровенно сказать, показалась мне глупой. Позже выяснилось, что это был особый ритуал.

Маша, как я не раз замечал, и вообще была подвержена каким-то шаманским суевериям. Думаю, это семейное – бабушка её, по имени Вася (Василиса), подрабатывала в свое время ведьмой. Тогда же Маша объяснила мне – впрочем, довольно туманно – что целью ритуала является не что иное, как наше будущее процветание. Какая роль и судьба отводились в этом действе поляку, я выяснять побоялся: явно, непорядочному блондину должно было не поздоровиться.

Однако, судя по всему, поляк продолжал процветать – чего нельзя было сказать о нас.

Город изобиловал туристами. Совсем рядом с нами бродило огромное количество денег, а мы не знали, как к ним подступиться. Воспитанные в духе гуманизма, мы не хотели воровать – и не имели ни малейшего понятия о том, как это делается.

Маша, слегка исхудавшая от бизнес-невзгод и моих комплексов, лучилась глазами и курила через агатовый, с золотым колечком мундштук, затягиваясь и каждый раз отставляя картинно тонкую руку.

Я знал, что на нее глазают, как бывало это всегда – и наверняка, как обычно, принимают за француженку. Мне льстило это, и я старался не думать о том, что до ночи – еще как минимум семь часов, а до постели – тринадцать остановок метро. Впрочем, если бы уж совсем приспичило, и мне, и Маше – мы нашли бы, как решить проблему: мы здорово в этом преуспели. Тогда любовь по несколько раз на дню опаляла нас внезапными вспышками острейшего желанья, заставляя искать места для совокупления там, где их в принципе быть не могло – искать и находить, как ни странно.

– Приветствую вас, дамы и господа! – хорошо поставленным и невообразимо пошлым баритоном сказали вдруг за спиной.

Мы разом обернулись в поисках обладателя – голос принадлежал коротконогому, полубогемного вида мужчине с выпирающим из замшевого пиджака пузцем, простым и хорошим русским лицом и забранными в бесцветный хвост волосами: именно они, должно быть, и придавали ему этот флер свободного недохудожника. На худой конец, он вполне мог сойти за фотографа. Однако ни фотографом, ни художником он не был.

Мужчина оказался экскурсоводом, а «дамы и господа» – туристами, собравшимися на пешеходную групповую экскурсию.

О, эти групповые экскурсии! О, эти «дамы и господа»! Именно от этих слов, как сразу догадался я, и происходило ощущение невиданной пошлости, сравнимое, разве что, со стыдом, который испытываешь за тамаду на сельской свадьбе. Я сходу возненавидел эти слова со всей мощью своей пролетарской ненависти – и так же не люблю их посейчас. За вопиющую неуместность, хотя бы: ну, не ходят истинные «дамы и господа» по стадным мероприятиям в три копейки ценой!

«Дамы и господа», если на то пошло, и вообще не ходят по экскурсиям – в лучшем случае, ездят на заднем сиденье в тихих и длинных черных машинах, которым почему-то разрешено парковаться там, куда простым смертным въезд закрыт – уж я-то знаю, сам десятки раз потом сидел спереди, обочь опиджаченного и самого важного из всех нас водителя – в качестве рекомендованного гида. Да, это, пожалуй, они – «дамы и господа», но мне и в голову не пришло бы назвать их так, да и они, не сомневаюсь, несказанно удивились бы, услышав от меня такое. Но все это было позже.

Тогда же, признаюсь без ложной скромности, мы, не стовариваясь, решили с Машей присоединиться к «дамам и господам» и походить с ними: не то, чтобы нам очень уж хотелось экскурсоводческих откровений – просто обилие свободного времени и жуликовато-бендерский вид гида к этому располагали. «Дам и господ» было человек семнадцать – мы надеялись, что сможем среди них затеряться. Выбрасывать деньги на мероприятие мы не собирались.

Отмечу сразу: Андрей (позже мы стали хорошими знакомыми и коллегами) мгновенно и безошибочно вычленил нас, халявщиков, из честной, приехавшей с курортного побережья толпы, едва заметно покачал укоризненной головой – однако шума поднимать не стал и даже легко, только нам двоим, улыбнулся: дескать, Бог с вами, нахалы – нет у меня ни сил, ни желания изгонять вас из стала. Ходите и слушайте, если уж вам так хочется.

И мы ходили – целых полтора часа, что длилась экскурсия. Все было отработано, четко и выверено до последней минуты. Все делалось гидом в сотый, а возможно, и тысячный раз. Десять фраз на объект, полминуты на фотографирование, поднятая вверх рука – и вперед, о дамы и господа.

Как и всегда, слушали экскурсию и понимали, зачем они здесь находятся, всего несколько человек: худенький мужчина бухгалтерского вида, имевший при себе даже блокнот, так ни разу ему и не пригодившийся, и четыре предпенсионных дамы в очках и цветастых хламидах, по виду – типичные преподавательницы музыки.

Остальные напоминали стадо озадаченных овец, согнанных с привычного пастбища и влекомых в неизвестность жестоким и чужим богом познавательного туризма. Группа растянулась безмозглой змеей.

Дети глазели в яркие экраны витрин, мужчины – на туго обтянутые лосинами задницы колумбик. Жены их, во всем новеньком и нарядном, старались не падать с высоченных каблуков, успевая ловить одобряющие взгляды иноземных самцов.

Гид, как и положено профессионалу, не обращал на поведение туристов ни малейшего внимания – отстреливал привычную очередь фраз, ждал положенные десять секунд, показывал замшевую спину и – упрямым ледоколом буровил неподатливую массу встречной толпы, увлекая за собой паству.

Истинное и внезапное удовольствие получали, похоже, только мы с Машей. Мы веселились и прыскали украдкой в кулаки, словно школьники – нам нравилось наблюдать за происходящим.

Через полтора часа, ко всеобщему удовольствию, все закончилось. Четыре пианистки, всю экскурсию смотревшие гиду в рот и не отстававшие от него ни на шаг, устроили мелодичную мини-овацию.

Мужчина-бухгалтер пытался робко дискутировать, выдвигая нелепый блокнот в качестве сомнительного аргумента – хвостатый экскурсовод смотрел на него благожелательно и отстраненно, не давая себе труда отвечать: время экскурсии вышло. Еще раз с укором колыхнув в нашу сторону овальным пузцем, гид, имея в кармане приличную сумму наличных, удалился.

...Уже незадолго до того, как нам расстаться, разбирая бумаги, мы с Машей наткнулись на старые журналы с заказами – семь растрепанных, внушительного размера книг, являвших собою полную летопись наших славных дел – и решили из праздного интереса выяснить, сколько всего экскурсий за восемь лет работы частными гидами мы провели.

Заказы, выполненные прибившимися к нашему кораблю позже сотрудниками, мы уговорились не считать, ограничившись лишь теми, что сделали лично, вместе или порознь. И доложу вам, цифра получились ошеломительная – и даже пугающая: 3012.

Вот это да! Оказывается, более трех тысяч раз мы меняли искрометное счастье общения с нами на дензнаки разного достоинства – кто бы мог подумать!

Будь мы, к примеру, снайперами из плохого кино, на прикладах наших давно бы не осталось свободного от зарубок места. Сколько же, черт побери, наворочено! А ведь кажется, началось все не далее, как вчера...

Да, да! Не далее как вчера, кажется, мы стояли с Машей, наблюдая, как удаляется, довольно неся аккуратное, как яйцо, пузце хвостатый, только что отработавший гид... Мы понимали, что это поток, конвейер, бездушный и безличный – и, тем не менее, что-то в увиденном только что непонятным образом взволновало нас.

– Знаешь, Маша, а вот я бы все сделал не так! – произнес я мечтательно судьбоносную фразу – и мы уставились друг на дружку укрупнившимися глазами. В тумане неизвестности забрезжила истина. Вот оно – решение! Вот он – честный, а главное, доступный способ заработка! Вот она, наша будущая профессия – private экскурсоводы класса люкс!

А почему нет? Рабочее место доступно и вокруг нас – целая Барселона! И даже целая Каталония – у нас ведь был довольно потрепанный джип, на котором мы, пристроив наших сварщиков на объекты, развозили синие металлические ящики с инструментом. Машина не новая, но послужить еще способна вполне.

Да и преподаватели мы, в конце концов, или кто?! А преподаватель – это человек, обученный, привыкший и умеющий работать с людьми. В нас это пять лет, в конце концов, вдолбляли, а потом мы на практике это вдолбленное претворяли в жизнь – значит, нам и карты в руки! Тот факт, что Маша на исторической родине преподавала сопромат, а я – английский язык, ни в малой мере нас не смущал.

Мы не имели ни малейшего понятия о профессии экскурсовода, а идти учиться у нас не было ни времени, ни денег.

Что же – изучим сами! Пробив немалую брешь в семейном бюджете мы прикупили несколько путеводителей. Требовалось привязать содержащуюся в них информацию к местности – и каждое утро, снабжённый бутербродом, напутственным поцелуем Маши и пятеркой евро на кофе, я садился на красную ветку метро и проезжал четырнадцать коротких остановок до центра. Ставку решено было делать в большей степени на меня – как на мужчину и обладателя более устойчивой памяти. К тому же, Маша активно занималась подготовкой к похоронам своей строительной фирмы, что отнимало у нее массу времени и сил.

Вскоре я понял, что путеводитель, в качестве пособия для экскурсовода – вещь совершенно не годная. В городе Барселона имелись сотни объектов, которые не упоминались в этих ярких и нелепых книжках ни словом, ни полсловом, и о которых, я уверен был, всякий порядочный турист обязательно спросит – и с чувством невыносимого стыда я должен буду пролепетать: «не знаю». А после десятого «не знаю» на моей профессиональной пригодности можно будет начертать жирный крест, да и вообще – от позора мне останется только наложить на себя руки. О, этот страх «не знаю», терзавший меня добрых три года и продолжающий покусывать и сейчас – но и сделавший меня тем, кем я стал. Впрочем, до того, чтобы стать кем-то, было еще далеко.

Пока же я выдвигался в центр с ручкой, блокнотом и массивным фотоаппаратом «Саппо», смешивался с толпой, ходил по разбухшим от красот улицам Барселоны, делал кривые по первости снимки и скрупулёзно фиксировал адрес каждой обнаруженной мной достопримечательности. В интернете я разыскал сайт на каталанском языке, где с такой же скрупулезностью целая, должно быть, армия местных историков, краеведов, архитекторов и фотографов уже зафиксировала и даже кратко описала половину барселонских чудес.

К тому времени я жил в Испании всего три месяца, страдая от отсутствия работы, углублялся все больше в себя, ни с кем, кроме Маши, не общался и потому, естественно, ни испанским, ни каталанским языками не владел. Теперь я понял – придется научиться. Нужда – величайший наставник. Забавно, но первое, что я прилично освоил в новой языковой среде – это чтение на архитектурную тематику по-каталански.

В самом разгаре учебной лихорадки мы разом с Машей сообразили, что и понятия не имеем, откуда взять клиентуру: тех самых чудесных людей с деньгами, которые захотят воспользоваться именно нашими слугами.

Первым шагом на этом пути стал выезд на побережье, где мы за один день, испытывая необъяснимое смущение, умудрились обклеить рекламными, состряпанными на скорую руку, объявлениями столбы сразу в трех курортных городах. В течение последующей недели от нашей руки пострадали столбы еще в двенадцати райских уголках побережий Коста-Брава и Коста Дорада.

К тому времени я полагал, что уже смогу, если понадобится, слепить из огромного количества свежееусвоенных фактов то, что гордо именуется экскурсией – но продолжал механически заучивать город. У меня имелась прямая и упрямая голова – и, как выяснилось, довольно вместительная.

Наступил июнь. Стройфирма агонизировала. Муж утаивал и воровал, ускорряя бесславный конец. Нависали суды, чреватые долгами. С наличием было совсем туго. Туристов делалось много больше, но ни один звонок по поводу экскурсий к нам так и не поступил. В конце концов, мы стали подозревать, что настольная реклама не возымела искомый эффект.

После мы узнали, что так и было: наши самопальные, в обход регламента, объявления, как и все другие подобного рода, аккуратно сдирались на следующий же день после расклейки – в Испании за этим строго следят.

Инстинктивно мы понимали, что нужны контакты с турагенствами в России, на Украине, в Казахстане и Республике Беларусь – но контактов этих у нас не было и быть не могло. Ни контактов, ни связей, ни рекомендаций. Ни опыта, ни умения – ничего. Все, что мы могли предложить турагенствам на тот момент – наше горячее желание срочно заработать на туристическом бизнесе и, таким образом, выжить.

Маша к тому времени исхудала еще сильнее и сделалась еще красивее. Я до дрожи боялся, что эдакую красоту скоро нечем будет кормить.

Три дня мы ходили с Машей по городу, имея на груди свежеизготовленные оранжевые бейджи с надписью «Гид в Барселоне» и ведя ловлю на живца – тщетно. Поклевки не было. Турист упорно не шел.

Тогда, в отчаянии, мы оборотились к интернету – и это был верный ход. Пообщавшись со Святым Гуглем, я выяснил, что у кое-каких индивидуальных гидов в Барселоне есть персональные сайты. На тот момент я насчитал их ровно пять штук. Сейчас, думаю, их не менее пятисот – но мы с Машей, и я с гордостью констатирую это, стояли у истоков интернет-продвижения.

Идея о персональном сайте сходу пришлась нам по вкусу. Понятно, денег, чтобы нанять специалистов, у нас не было – поэтому снова все пришлось постигать самим. Учитывая, что на тот момент наш опыт сайтостроительства был равен нулю, а опыт пользования компьютером исчислялся очень близкой к нулю величиной – задачка была ещё та!

На две недели мы напрочь забыли о еде, сне и отдыхе. Остался лишь основной инстинкт, вносящий приятное разнообразие в круглосуточные компьютерные бдения. Снова мы начинали с азов, и снова волосы на моей голове стояли отчаянным дыбом.

И все же мы сделали его: свой сайт. Свой первый туристический сайт. Скажу сразу – он вовсе не походил на вылизанные и однотипные творения компьютерных профессионалов. Он вообще на что не походил. Сайт получился наивным, ярким, обаятельным и кривым, как работы художников-примитивистов. Огромные несжатые фотографии безбожно тормозили загрузку.

При этом текстовое наполнение мы сделали стопроцентно оригинальным и, похоже, весьма не плохим: впоследствии тексты с нашего первого детища разобрали на цитаты, а проще говоря, разворовали, целиком или по частям, сонмы наших непорядочных продолжателей. Освященные временем останки этих текстов я до сих пор нахожу в рекламных проспектах даже крупных турфирм.

Эх, до сих пор помню прекрасно ту волнительную и непрерывную ощупь, которой искали мы свое место под солнцем!

Цены на экскурсии, по зрелом размышлении, мы установили смехотворно, умопомрачительно и беспрецедентно низкие – как будто заранее извиняясь за качество своих услуг. Сейчас я понимаю, что, работай мы по этим ценам и впредь – мы вряд ли наскребли бы даже на еду. Но это сейчас – а тогда сама возможность извлечь эти, пусть и мизерные, но такие нужные деньги из ниоткуда, из воздуха (свое время и труд мы, естественно, не брали в расчет, ибо они тогда ничего не стоили) казалась нам волшебством.

Итак, собственный сайт у нас был – настало время бесплатной рекламы: другой мы позволить себе не могли. Это был куда более механической и бездушный – но совершенно необходимый – процесс. Скажу честно: с азартом истинного неофита, подогреваемым чувством близкого голода, я не оставил без внимания ни одной доски бесплатных объявлений на всем сетевом пространстве. В конце концов, когда я зашел на второй круг, меня стали гнать отовсюду, борясь с моим рукотворным спамом – но семена были брошены в землю, и всходы не заставили себя ждать.

В середине июня оно все-таки пришло, это первое письмо с запросом туристических услуг – наших с Машей услуг! – и передать безграничное ощущение праздника, врвавшееся в нашу скорбную жизнь вместе с ним, я даже не берусь. Отпрыгав и отскакав положенные восторги, мы крепко поцеловались и сели изучать послание.

Выяснилось, что к нам едет еврей-адвокат из Нью-Йорка, желающий вместе с женою и детьми получить несколько пешеходных экскурсий по Барселоне на русском языке. Думаю, что основополагающим при выборе для него явилось то, что мы семейная пара, работающая, к тому же, за гроши. В те далекие времена туристы еще опасались попасть в лапы жуликов или бандитов, а семья, как почему-то полагали они, уже служит некой гарантией безопасности. Финансовый момент тоже не следовало сбрасывать со счетов – все-таки мы имели дело с евреем, к тому же, стряпчим.

Так или иначе, 15 июля американский законник должен был сделаться нашим – и после дважды еще. Мы посмотрели на часы и увидели, что стрелки мчат четверо быстрее против прежнего. Оставалось меньше месяца – и месяц этот слился в один очень долгий день, состоявшийся из сплошной учебы. Мы не хотели ударить в грязь лицом.

И конечно же, ударили. К знаменательной дате я почти свихнулся от бессонницы и волнения. Ни к одному из госэкзаменов в далеком студенчестве не готовился я так фанатично и истово, как к этой, первой в свое жизни, экскурсии. Накануне я испытывал лишь одно, но страстное желание – втайне я постыдно мечтал, чтобы еврей не приехал и, таким, образом, избавил меня от краха.

Маша держалась спокойнее, но это как раз понятно: выступать, то есть, вести экскурсию, предстояло главным образом мне. Маша обеспечивала моральную поддержку и, на тот случай, если я, паче чаяния, окончательно заплутаю в дебрях маршрута – несмотря на два года службы в пограничных войсках, я плохо ориентировался на местности, это врожденное – Маша должна была сыграть роль Сусанина.

И все же она волновалась, и презрительно. Если бы степень волнения измерялась в метрах, мы, думаю, оставили бы Джомолунгму далеко внизу.

Первый прокол, тем не менее, произошел совсем не там, где ожидалось – и случился еще до начала экскурсии. Встреча была назначена на двенадцать дня. Когда стрелки убежали к десяти минутам первого, я стал тихонько надеяться, что мои малодушные мольбы возымели действие, и еврей действительно передумал – и в ту же минуту зазвонил мой мобильный.

Я принял трубку – на обратном конце линии сдавленным от ярости голосом поинтересовались, какого черта я опаздываю. «Чегта» – сказано было именно так. Я возмутился – опаздывали не мы. Еще через пять минут нервных переговоров выяснилось, что мы попросту перепутали отель: мы ожидали у «Каталония Плаза Каталуния», а еврей с семейством, оказывается, жил в «Каталония Палас».

Быстро просмотрев нашу почтовую переписку в телефоне, я все же убедился, что ошибся, сообщая данные по отелю, он, но сути это не меняло: он был там, а мы – здесь, и ничего хорошего в этом усмотреть было, при всем желании, нельзя.

Вот и первый урок из тысячи, которые предстояло усвоить нам со временем: всегда уточняй не только название, но и адрес отеля, особенно в Барселоне, где отелей, содержащих в названии слово «Каталония» – около полусотни.

Но ошибся-то, черт побери, он! К тому времени, когда мы, с опозданием в полчаса, все же встретились с ним, я непонятным образом успел успокоиться, и даже посуроветь – во всяком случае, вместо выяснения отношений Марк (так звали адвоката и главу), взглянув на меня, лишь молча пожал мне руку и невразумительно махнул другой в сторону миловидной жены и двух совершенно одинаковых, но разнополых рыжих детей – знакомство состоялось.

Я не без злорадства отметил, что на белоснежных шортах отца и мужа красуется свежее пятно, явно оставленное апельсиновым соком. Снова я закипал. Отель был самый пятизвездный, что лишь добавило мне ненависти. Да, да – ненависти! Потому что я уже ненавидел адвоката и все его семейство – за всю ту бездну унижений, через которые мне еще предстояло пройти. От этой ненависти и безысходности у меня сперло дыхание, я злобно и неразборчиво крикнул – и экскурсия началась.

Боже... Боже. Боже! Ангелы, кажется мне, должны были восплакать и вострубить апокалипсис на небесах!

Выглядело это так: в глубоком молчании и с преувеличенно умным лицом (никому, кроме меня, не видимым) я шел на деревянных ногах впереди, за мною в кильватере следовали такие же немногословные клиенты... Следовали, не терпится сказать мне, «гусь в гусь» – знаю, такого выражения нет, но должно бы быть, потому как, по словам замыкавшей Маши, именно так все и выглядело: шагали они строго один за другим, выстроившись по росту, на полусогнутых – и совершенно синхронных – ногах, напоминая смешливой Маше группу влекомых злою силой на заклятие гусей. «Злую силу» воплощал я. Сама Маша, как я сказал уже, прикрывала тылы, следя, чтобы гуси не разбежались вдруг ко всем собачьим чертям.

У первой достопримечательности (кажется, это был дом Батльо), я внезапно встал – так резко, что Марк даже ткнул носом мне в спину, оборотился к аудитории, простер над детьми

Израиля ленинскую длань и дикторским, совершенно бесцветным и чересчур громким голосом выдал им, без единой заминки или запинки, полную информацию по объекту.

На фоне предыдущего гробового молчания речь моя возымела сильный эффект – даже на меня самого. Мальчик Йонатан забыл во рту палец и глядел на меня не мигая. Девочка Соня, самая живая из всех, даже забежала мне за спину – я уверен, в поисках кнопки, которая привела запятанный во мне автомат в действие. Жена адвоката неопределенно и неосмысленно улыбалась в пространство, как человек в состоянии гипнотического сна. Сам глава беззвучно шевелил губами, явно проговаривая про себя особенно удачные обороты моей металлической речи.

Нашулав во всеобщей тишине окончание паузы, я вновь издал агрессивный крик, предлагая приступить ко второму акту.

В знакомом походном молчании и заведенным по порядку мы переместились к следующему объекту – где ситуация до мельчайших деталей повторилась. С великолепной бездушностью говорящей заводной машины я снова пролезгал набор академических сведений, обильно уснащая речь архитектурным жаргоном – и, повинуясь крику, мы двинулись дальше.

После десятка повторений палец во рту забыл уже сам адвокат. Удивление его переросло в изумление и выродилось в недоверие: он явно сомневался, что все происходящее имеет место быть на самом деле. Видимо, по этой причине, на одном из тихих по-индейски переходов он внезапно схватил меня за руку, останавливая, ткнул пальцем в очень второстепенный модернистский особнячок, где из красот имелся разве что затертый, верблюжьего цвета ковер перез входом, и уставился на меня торжествуяще: а ну-ка, как ты теперь выкрутишься?

Он не знал, что, подстегиваемый ужасом от предстоящей экскурсии, я разъял всю необходимую мне для работы Барселону на кирпичики, обнюхал и рассмотрел под микроскопом каждый из них, присвоил их, внеся в обширные склады памяти – и затем сложил заново. Я вызубрил ее – мою рабочую Барселону, и усть меня на этом поле было сложно. Потрясенный, Марк схватил и крепко пожал мою руку еще раз.

Он взял все три экскурсии и стойчески выдержал их, что уже сродни подвигу. Положа руку на сердце – экскурсии эти были ужасны: как яблоки из папье-маше или секс с резиновой куклой. В ту пору мы не понимали еще, что цифры и даты – величайшее зло, а знание без страсти – мертво.

Расставаясь в конце третьего дня, он записал мой телефон и сказал, с отзвуками недавнего потрясения в голосе:

– Послушайте – но это феномен. Это нереально. Я дам вашим контакты своим друзьям. Потому что это невозможно!

Тогда я счел его слова за комплимент – хотя сейчас склонен считать, что относился не к моим экскурсоводческим талантам, а скорее, к аттракциону безграничных возможностей человеческой памяти, который был троекратно продемонстрирован ему за весьма умеренную сумму. Сейчас я и сам не верю, что такое возможно – и заплатил бы, не колеблясь, вдвое больше, если бы кто-то смог удивить меня подобным.

Самое интересное, что адвокат действительно сдержал обещание (евреи в этом смысле очень обязательные люди), и через месяц-другой к нам потянулся целый ручеек клиентов из Нью-Йорка. К тому времени, кстати, им достался «гораздо более ценный мех» – мы быстро набирали мышечную массу в профессии.

А Марку я до сих пор и от всей души благодарен за это, пусть и своеобразное, признание нашей профессиональной годности. Признание это было первым – и самым важным. И эту, первую нашу, экскурсию, я помню до сих пор. Первую экскурсию и вообще не забудешь – как первую женщину, первый выстрел из настоящего оружия... Как первую, черт возьми, любовь – хотя я до сих пор не знаю, что это такое.

После этой, одобренной первой, мы горы могли сверзить в океан, и свернуть нас с пути гида было уже невозможно.

Пока же судьба, с усмешкою долго наблюдавшая, как муж ездит по Машиным и моим костюм, вдруг поменяла гнев на милость. Не успели отгреметь сомнительные фанфары, знаменующие успех первой «операции», как телефон зазвонил снова: следующие люди жаждали наших услуг.

Я уверен и по сей день: снова никак, ну никак не обошлось без золотого божьего крыла: через неделю нас буквально завалили заказами – такого их количества мы не получали никогда, даже много позже, когда уже были известны, востребованы в своих кругах и на отсутствие работы не жаловались.

Но тогда, в начале начал – творилось немыслимое. Откуда о нас узнавали – остается загадкой. Казалось, повинуюсь небесному приказу, люди в разных странах и городах просыпались в серединах своих ночей, влеклись неодолимой посторонней силой к столам, сжимали в вялых от сна руках ручки и под диктовку свыше механически, как зомби, записывали неизвестные им до поры магические знаки: наш адрес почты, наш номер телефона.

Эти люди, возможно, не выезжали за границу уже несколько лет. Вероятно, они вообще никогда не выезжали за границу и не собирались этого делать в дальнейшем. Тем более, не планировали они посещать Барселону (она ведь не в Турции!) и, милуй Бог, заказывать там какие-то экскурсии.

Но план был начертан, коды выданы, явки сообщены – и сопротивляться направляющей длани не имело смысла. И люди, продолжая пребывать в управляемом сне, собирали деньги, хлопотали о визе, снимали отели, сдавали домашних животных на попечение родственникам, соседям и друзьям, ехали в аэропорт, летели в Барселону и брали экскурсии именно у нас, так до конца и не понимая – ни тогда, ни потом – что сподвигло их проделать все это.

За два с половиной последующих месяца у нас не было ни одного выходного, и случались дни, когда на двоих приходилось целых четыре заказа.

Мы учились на работе и работали на учебе. Мы продолжали учиться дома, окончательно отказавшись от сна. Темп и напряжение этого первого забега мы никогда бы не смогли выдержать или пережить больше. Я сбросил пятнадцать кг живого веса, Маша – семь.

Но из этих двух с половиной месяцев мы вышли уже сложившимися гидами и вынесли железное понимание: работа эта нам нравится, и позволяет не только выживать, но и жить, пожалуй. Работа подходит нам, и, что еще важнее – мы подходим работе. Редко когда в жизни доводилось мне и Маше испытывать такой триумф. Мы обрели её, нашу собственную корову, мы породили ее сами и могли растить ее, воспитывать и доить так, как нужно нам.

А потом были два дня передышки – и все по новой. Так и растянулось все – на восемь удивительных лет.

* * *

Восемь лет – сказал я. Восемь лет, которые были и закончились, и сейчас я лежу под дубовым своим потолком, в каталонской предрассветной глуши – совершенно один. Под звон колоколов, который так точен, размерен и всегда с тобой, я пытаюсь понять, почему мы с Машей не вместе. По-прежнему у нас общее дело, у нас полное доверие друг к другу – но минуло этих восемь лет, и наше с ней одно на двоих время вышло. Почему? Уже полгода я трачу по часу в день – с пяти до шести – пытаюсь вспомнить, осознать и понять.

Полтора года мы шли друг к другу. А потом, оказавшись вместе, укрепились на собственной почве и прожили еще восемь лет – до того, как расстаться.

Так какими все же были они, эти восемь?

Мгновенными, сказал бы я. Молниеносными – особенно вначале. Мы жили так быстро, что не оставалось времени даже на сон. Мы много работали, чтобы заработать побольше: сначала расплачивались с долгами, оставшимися от прежней жизни, после выяснилось, что вокруг много людей, нам совсем не чужих, которым постоянно нужно помогать – и потому мы брали работы под завязку, столько, сколько могли потянуть, а часто и много больше. Да, так, пожалуй, будет вернее: чаще, особенно в первые годы, мы брали столько работы, сколько потянуть не могли.

Как мы узнавали о том? Да очень просто: когда все вокруг нас – самые китайские китайцы, самые французские французы и самые испанские испанцы – начинали вдруг дружно разговаривать на чистейшем русском языке; когда каждый чуть более громкий звук заставлял нас вздрагивать, как от расстрельного залпа, и хоронить испуганную голову в плечи; когда витиеватая и длинная произносимая кем-то из нас экскурсионная фраза вдруг обрывалась на середине и повисала в пустоте, потому что к этой самой середине мы успевали начисто забыть, с чего было начато, но даже и не думали продолжать, а лишь мягко улыбались и махали извинительно вялой рукой; когда на сон оставалось три часа, и даже эти часы мы не могли уже выспать, но отмучивали в тяжелой, напоминающей бред полувяи – тогда мы, наконец, понимали: пора сказать себе «стоп».

Да, только когда наступал такой вот предел предела и крайний край (мы давно убедились, что завершение, конец всего – это вовсе не точка, но прямая, которая может легко затеряться в той же бесконечности) – когда все-таки иссякали крайние остатки давно уже исчерпанных сил, мы срывались, наконец, в короткое путешествие вдвоем, чтобы через неделю вернуться и сходу, с колес, нырнуть в ту самую работу и продолжить затяжной марафон.

Это была, как я сказал уже, очень быстрая жизнь. Восемь мгновенных лет.

И насыщенных – этого не отнимешь. Именно пугающая скорость, с которой мчало наше совместное время, заставляло ценить каждую из все быстрее убегающих секунд.

Забавно, что в каждый свой отпуск мы выбирались в полубморочном от усталости состоянии – и с железобетонным намерением категорически никуда не спешить. Да, в отпуске мы намеревались быть испанцами. Если встанешь раньше, солнце от этого раньше не взойдет – повторяли мы себе испанскую поговорку. Мы планировали валяться до обеда в постели. Вторую половину дня проводить на пляже. Вечер тратить на бездумные променады и вдумчивые утехи желудка. Мы хотели ничего не делать и никуда не спешить. На деле же нашей испанской созерцательности хватало ровно на два часа.

Секунды бежали все быстрее, толкая друг друга в спину. В отпусках они и вообще мчали формульными болидами. Мир был катастрофически велик – и продолжал расти, как на дрожжах. Чем больше мы видели, тем больше нам оставалось посмотреть. Мы не знали, вернемся ли мы в какое-нибудь приглянувшееся нам место во второй раз – и потому должны были взять от него все, что возможно, в первый. На этом фоне каждое потраченное впустую мгновение отпуска выглядело тяжким преступлением, совершенным с особым цинизмом. Пытаясь успеть все, мы вставали затемно и ложились впотьмах. В итоге сумасшедшая неделя отпуска выматывала нас больше, чем три месяца работы до нее – но эта отпускная усталость, как ни странно, давала нам силы и смысл работать дальше.

Да, так и есть, и мне приятно вспоминать об этом: мы под завязку наполняли наши отпуска событиями и местами. Объездили половину света. Стояли на вершинах разных гор. Спускались в непроглядные пещеры. Хаживали под сводами бесчисленных музеев и церквей. Слушали, как свирепо грызут океаны камни своих берегов. Наши довольные и почему-то на редкость наглые физиономии (странный фотографический эффект) улыбались на фоне тысячи всевозможных красот. «Лиса Алиса и кот Базилио!» – удивлялась каждый раз Маша, изучая отпускные фотографии – но вряд ли нас это смущало. Да, мы много ездили – и всюду, везде постоянно что-то узнавали и чему-то учились. Мы не хотели быть кое-какими в своем деле – мы хотели быть лучшими. И, судя по отзывам экскурсантов, кое-чего на этом пути мы добились.

Да, это были восемь насыщенных лет.

А еще – восемь международных лет. Или, лучше сказать – интернациональных. Или, еще точнее, наднациональных и даже миротворческих. Судите сами: за эти годы нашими клиентами были представители самых разных стран, наций и континентов. Мы и сами не представляли себе ранее, насколько обширен он – ареал человека русскоязычного. А ведь пропуском в наш экскурсионный клуб и был он – русский язык. И человек, им владеющий и заказавший у нас экскурсию, получал в полном объеме и в одинаковой степени все обещанные чудеса, вне зависимости от национальности, гражданства и страны проживания. Снова, снова я сбиваюсь на пресловутое равенство и братство – но только потому, что так было, так есть, и так будет – и я, если честно, горжусь этим и именно это считаю одним из главных достоинств своей профессии.

У нас было одно жесткое правило: никаких разговоров о политике – но этим все запреты и ограничивались. И если мировые лидеры, в силу своей извращенной природы, занимались тем, что сталкивали целые народы лбами, обращая вчерашних друзей в кровных, до сень-

мого колена, врагов – мы на своем маленьком поле делали прямо противоположное. На своем маленьком поле мы доказывали, что взрослые, разумные люди, к какой бы нации они не принадлежали, всегда способны найти общий язык при условии честного друг к другу отношения. И мы находили его, этот общий язык – с американцами и украинцами, литовцами и латышами, грузинами и казахами. Мы находили его – в противовес всему тому агрессивному бреду, которым пичкали свою паству слепые и кровожадные поводыри. За восемь лет работы мы завели себе множество друзей и хороших знакомых по всему свету – и потому эти годы я с полным на то основанием могу назвать миротворческими.

А еще это были восемь ровных лет – сказал бы я. Стабильных – особенно, на фоне ухабистых этапов нашего становления. Стабильных – невзирая на высокую плотность и темп. Обозначилась строгая колея, неукоснительная последовательность событий. Цикл, череда, распорядок.

Каждое утро начиналось с чашки кофе и круассана. Каждый день проживался вздохом и на износ – работать в половину силы мы не умели. Каждый вечер нужно было читать на испанском, английском или русском – в вечном поиске нового знания. Каждые два года менялись рабочие машины – после того, как успевали за эти два года пять раз объехать Землю по экватору. Каждый месяц нужно было идти на почту и отправлять деньги тем, кто в них нуждался больше, чем мы. Каждые сто дней нужно было сказать себе «стоп» и сделать недельную передышку. Каждую неделю нужно было найти в себе силы и хотя бы разок выбраться в спортзал: организмы наши давно превратились в такие же рабочие машины, вот только поменять их возможности не было – и потому приходилось поддерживать в порядке, что есть. Каждое лето минимум семь раз нужно было съездить на пляж и окунуться в средиземную воду – чтобы не простужаться потом целый год. Каждую зиму – слетать на пять дней к родителям в Екатеринбург. Каждую весну – на пять дней в Минск. Цикл, череда, распорядок. Мы даже ругались с Машей по распорядку – примерно раз в две недели. Думаю, это отличный показатель для любой семьи. Да и ругались, честно сказать, вполне умеренно – никакого, ни малейшего сравнения с прежними Бородинскими мясорубками! Ругались вяло, без искры и страсти. Но это ведь, в конце концов, и неплохо!

Еще – по ночам или в менее занятые зимние месяцы я кое-что сочинял, и надеялся, что делаю это не зря. Меня начинали кое-где печатать. Проведя нехитрые подсчеты, я вывел, что такими темпами лет через сто пятьдесят или двести даже приобрету умеренную известность. Впрочем, пишешь ведь не для этого, да и вообще неизвестно для чего – пишешь просто потому, должно быть, что не можешь не писать.

Параллельно происходили и другие события – приятные и любые.

Вскоре после начала нашей экскурсоводческой жизни фирма Маши и мужа обанкротилась – как и предполагалось. Остались суды и долги, о которых тоже было известно заранее. Муж от выплаты своей части старался всячески увиливать. После того, как рычаги экономического давления на Машу у него отняли, да и собственных доходов сделалось не в пример меньше, он изрядно потускнел. Впрочем, мы почти не виделись с ним: после краха фирмы поводов для визита к нам у него не осталось. Не нужно было больше ездить к нам и привозить дурные вести – что он так любил делать.

Всю живость своего характера он обратил на «нежных и покладистых». Он упивался их нежностью, и наслаждался покладистостью, реализуя тем самым все погранные было

Машей царские амбиции – а для демонстрации восстановленного статуса регулярно приглашал к себе в гости «родственничков». Привлеченные шашлыками и дармовой выпивкой, те гостили охотно, с удовольствием наблюдая идеальный домостроевский быт «мужа номер два».

Но вот незадача: каждая «нежная и покладистая» наскучивала ему довольно быстро, после чего следовал скандал, жесткое мужское указание на дверь – и новая спутница, лишившись части своего имущества или денег («второй номер», видится мне, брал таким образом плату за все сделанные им туманные блага), оказывалась на улице. Иногда мне кажется, что он и заводил их только для того, чтобы прогнать – как будто мстил таким образом Маше, да и всему женскому роду-племени. Странно и забавно, но плакаться они бежали к Маше, непонятным образом прослышав о ней и узнав наш адрес – и Маша, что для нее было совершенно нормальным, действительно утешала их, причем искренне и успешно.

– Не расстраивайся, – бодро говорила она очередной «покладистой». – Ты еще легко отделалась. Это такой человек. Чем дольше с ним живешь – тем больше ему должен. Уж я-то знаю – я с ним куда дольше жила. Теперь должна ему по гроб жизни. А у тебя он каких-то три тысячи увел – тьфу! Мелочевка. Так что радуйся, что все закончилось так быстро и относительно безболезненно. Это счастье, поверь!

И убедительной Маше верили.

Место отставленной спутницы тут же сменяла другая, и ситуация с точностью до деталей повторялась. Тоже, однако, цикл – имевший тенденцию к ускорению. В конце концов, даже «родственнички» запутались и перестали понимать, с какой из них живет сейчас «второй номер» и стали косить на него глазом недоуменным и подозрительным. Их можно понять. Скажем, встречаясь где-то на барселонских улицах, они затевали следующий, например, разговор:

– Привет. Были недавно у Анатолия. Хорошо посидели. Шампанское, шашлыки. Да и Таня его – приятная такая женщина! – говорили одни.

– Ага, – соглашались другие. – И нас приглашали недавно. Тоже неплохо погудели. Ящик Анны Кодорниу выпили. Шашлыки, опять же. Вот только не Таня у него, а Марианна!

– Вы что-то путаете, – возражали первые. – Именно Таня. Миниатюрная такая блондиночка. Из Прибалтики. Картавит еще так смешно...

– Ничего мы не путаем! – возмущались вторые. – Вроде бы рано еще склерозом страдать! Марианна – длинная такая брюнетка из Армении. Вы, похоже, не только шампанское у Толика пили – вот все с пьяных глаз и перепутали!

– Да кого ты алкоголиком назвал? – закипал кто-то самый грузинский. – Сам-то сколько дней в году трезвым бываешь? Сказано – Таня, значит – Таня! «Марианна»... Сам ты, бля, «Марианна»!

Такие беседы часто заканчивались ссорами, а иногда – дракой, хотя обе стороны могли быть совершенно правы – просто слишком уж часто обновлял «второй номер» свое приложение.

Что до Маши – «родственнички», в конце концов, все-таки перестали считать ее заблудшей овцой, одумались, окстились, поменяли минус на плюс и с радостью готовы были принять ее в свой разномастный круг вновь. И причиной тому, в немалой степени, стал все тот же неугомонный муж.

Случилось это после того, как он прошерстил их славные ряды на предмет сбора средств, наврал им с четыре короба, обещая баснословные и скорые прибыли от вложений в его новое беспрюирышное дело, а после, с взятыми под честное слово капиталами (денег оказалось действительно много, как бывшему царю и недавнему мученику, как выдающемуся, в прошлом, «директору», ему давали почти без скрипа, и он брал, брал и брал у всех; даже у наивных и прекрасных детей, которых выбросил из головы и жизни сразу же, расставшись с Машей, «второй номер» позаимствовал, что мог), после сгрузил все представлявшее мало-мальскую ценность в большой прицеп, прицепил его к огромному черному джипу, кредит на который он так и не выплатил до конца, усадил рядом с собою очередную, свеженькую «нежную и покладистую» (кажется, шестую по счету) и, никого не поставив в известность, покинул пределы прекрасной Испании навсегда. Никакого гиперприбыльного дела, воспетого им, не существовало в природе, и никаких денег никому он, понятное дело, возвращать не намеревался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.